

Россия и Европа

Н.Я. Данилевский

ГЛАВА VI. Отношение народного к общечеловеческому

a+b>a

Из любой алгебры

Отношение национального к общечеловеческому обыкновенно представляют себе как противоположность случайного - существенному, тесного и ограниченного - просторному и свободному, как ограду, пеленки, оболочку куколки, которые надо прорывать, чтобы выйти на свет Божий; как бы ряд обнесенных заборами двориков или клеток, окружающих обширную площадь, на которую можно выйти, лишь разломав перегородки. Общечеловеческим гением считается такой человек, который силою своего духа успевает вырваться из пут национальности и вывести себя и своих современников (в какой бы то ни было категории деятельности) в сферу общечеловеческого. Цивилизационный процесс развития народов заключается именно в постепенном отрещении от случайности и ограниченности национального, для вступления в область существенности и всеобщности - общечеловеческого. Так и заслуга Петра Великого состояла именно в том, что он вывел нас из плена национальной ограниченности и ввел в свободу чад человечества, по крайней мере, указал путь к ней. Такое учение развилось у нас в тридцатых и в сороковых годах, до литературного погрома 1848 года [+]1. Главными его представителями и поборниками были Белинский и Грановский; последователями - так называемые западники, к числу которых принадлежали, впрочем, почти все мыслившие и даже просто образованные люди того времени; органами - "Отечественные записки" и "Современник"; источниками - германская философия и французский социализм; единственными противниками - малочисленные славянофилы, стоявшие особняком и возбуждавшие всеобщий смех и глумление. Такое направление было очень понятно. Под национальным разумелось не национальное вообще, а специально-русское национальное, которое было так бедно, ничтожно, особенно если смотреть на него с чужой точки зрения; а как же было не стать на эту чужую точку зрения людям, черпавшим поневоле все образование из чужого источника? Нужны были смелость, независимость и прозорливость мысли в более нежели обыкновенной степени, чтобы под бедным нищенским покровом России и славянства видеть сокрытые самобытные сокровища,- чтобы сказать России:

Былое

в

сердце

воскреси,

И в нем сокрытого глубоко
Ты духа жизни допроси!

Под общечеловеческим же разумели то, что так широко развивалось на Западе, в противоположность узконациональному русскому, т. е. германо-романскоему, или европейскому. К смешению этого европейского с общечеловеческим могло быть два повода. Во-первых, общечеловеческим считалось не немецкое или французское (об английском уж и не говорим),-то и другое было также запечатлено характером узконационального,- а нечто, прорвавшее национальную ограниченность и являвшееся общеевропейским. Следовательно, обобщение уже началось, и ему следовало только продолжаться, чтобы сделаться общечеловеческим. Мало того: оно уже было таковым в сущности, и ему недоставало только внешнего повсеместного распространения, которое должно было совершиться посредством пароходов, железных дорог, телеграфов, прессы, свободной торговли и т. д. Здесь не принималось во внимание того, что Франция, Англия, Германия были только единицами политическими, а культурной единицей всегда была Европа в целом,- что, следовательно, никакого прорвания национальной ограниченности не было и быть не могло, что германо-романская цивилизация, как была всегда принадлежностью всего племени, так и оставалась ею. Во-вторых, и это главное, казалось, что европейская цивилизация, в последних результатах своего развития (в германской философии и французском социализме, начавшемся с декларации *des droits de l'homme* [+2]), порвала последние пути национального, даже высокоевропейски национального, и как в научной теории, так и в общественной практике ни с чем не хотела больше иметь дела, как с наиобщечеловечнейшим. Германская философия, с презрением устранив все имевшее сколько-нибудь характер случайности и относительности, схватилась бороться с самим абсолютным и, казалось, одолела его. Так же точно социализм думал найти общие формы общественного быта, в своем роде также абсолютные, могущие осчастливить все человечество, без различия времени, места или племени. При таком направлении умов понятно было увлечение общечеловеческим. Само учение славянофилов было не чуждо оттенка гуманитарности, что, впрочем, иначе и не могло быть, потому что оно также имело двоякий источник: германскую философию, к которой оно относилось только с большим пониманием и с большею свободой, чем его противники, и изучение начал русской и вообще славянской жизни - в религиозном, историческом, поэтическом и бытовом отношениях. Если оно напирало на необходимость самобытного национального развития, то отчасти потому, что, сознавая высокое достоинство славянских начал, а также видя успевшую уже высказаться, в течение долговременного развития, односторонность и непримиримое противоречие начал европейских, считало, будто бы славянам суждено разрешить общечеловеческую задачу, чего не могли сделать их предшественники. Такой задачи, однако же, вовсе и не существует - по крайней мере, в том смысле, чтобы ей когда-нибудь

последовало конкретное решение, чтобы когда-нибудь какое-либо культурно-историческое племя ее осуществило для себя и для остального человечества. Задача человечества состоит не в чем другом, как в проявлении, в разные времена и разными племенами, всех тех сторон, всех тех особенностей направления, которые лежат виртуально (в возможности, *in potentia* [+3]) в идее человечества. Ежели бы, когда человечество совершил весь свой путь или, правильнее, все свои пути, нашелся кто-либо, могущий обозреть все пройденное, все разнообразные типы развития, во всех их фазисах, тот мог бы составить себе понятие об идее, осуществление которой составляло жизнь человечества,- решить задачу человечества; но это решение было бы только идеальное постижение ее, а не реальное осуществление. Какая форма растительного царства осуществляется наилучшим во всех отношениях образом идею или, пожалуй, задачу растения: пальма или кипарис? Дуб, лавр или розан? Очевидно, что такой формы вовсе нет, что иная сторона растительной жизни выражается совершеннее мхом, чем более развитыми формами. Полное осуществление идеи растения заключается лишь во всем разнообразии проявлений, к которому она способна, во всех типах и на всех ступенях развития растительного царства, и может быть только идеально постигаемо, а не реально осуществляемо. Может показаться, что это иначе в царстве животном. Человек кажется высшим осуществлением идей животного. Нисколько! Человек как животное во многом стоит гораздо ниже других животных. Свободное движение принадлежит, конечно, к идее животного, но человек несравненно хуже двигается в воде, чем рыба, в воздухе - чем птица, на земле - чем лошадь, олень или собака, на дереве - чем обезьяна или белка, и т. д., хуже даже при посредстве искусственно созданных им себе органов, пароходов, паровозов, воздушных шаров и т. д. К понятию о животности принадлежит также способность превращать в составные части своего собственного тела извне почерпаемое вещество; и в этом отношении пищеварительные органы лошади или коровы гораздо совершеннее устроены, потому что способны извлекать химически однородные с их телом части из веществ столь мало питательных (т. е. столь мало этих частей в себе заключающих), как трава. Способность получать впечатления от предметов внешнего мира есть также одна из принадлежностей животности; и тут зрение орла или сокола гораздо превосходнее человеческого: это настоящие зрительные трубы, которые могут приспособляться к зрению вблизи и к зрению вдали; обоняние собак бесконечно совершенное, чем у человека; слух или осязание у летучих мышей равняется как бы шестому чувству, удостоверяющему их в присутствии предметов, до которых они не прикасаются и которых не видят. Животное совершенство человека заключается только в том, что он изо всех животных - наименее животное и потому способен к соединению с духом, который должен победить эти остатки животности. Следовательно, и животность осуществляется вполне также не в одной какой-либо форме, а во всех типах и во всех ступенях развития животного царства. Возьмем отдельного человека: какой возраст осуществляет вполне все стороны его

природы? Когда достигают все его способности своего наивысшего развития? Никогда. В одних отношениях он бывает, так сказать, вполне человеком только в зрелом возрасте, в других - в юношеском, в третьих - в старческом (опытность), в некоторых - даже в детском (память), и полным человеком называем мы того, который совершенно проявил все разнообразие своей природы во всех фазисах своего развития. *Итак*, и идея человека может быть постигаема только через соединение всех моментов его развития, а не реально осуществляема в один определенный момент, хотя тут есть то существенное различие, что человек сохраняет сознание своей индивидуальности через все возрасты, через которые прошел, и, следовательно, это идеальное постижение выполнения им своей задачи может им почитаться за реальное ее осуществление. Если бы, однако, человек осуществил свою задачу в один фазис (в один момент) своего существования, то - вследствие единства сознания - мог бы еще видеть в этом частном осуществлении вознаграждение за недостаточность ее полного решения во все времена своей жизни; но ни человечество, как существо коллективное, ни отдельный какой-либо человек не носят в себе сознания человечества. Поэтому какой удовлетворительный смысл имело бы полное осуществление задачи человечества в какой-либо момент его истории? Что значила бы цивилизация, которая соединила бы в себе (если бы даже это было возможно и совместимо) все стороны в отдельности, проявленные доселе разными культурно-историческими типами, - соединила бы совершенство положительной науки, достигнутое цивилизацией Европы; полное развитие и осуществление идеи изящного, как во времена греков; живое религиозное чувство и сознание евреев или первых веков христианства; богатство фантазии Индии, прозаическое стремление к практически-полезному Китая, государственное величие Рима и т. д., - довела бы еще это все до высшей степени развития, с прибавлением идеально совершенного общественного строя? Какой удовлетворительный смысл имел бы этот - несколько веков или хотя бы и тысячелетий продолжающийся - золотой век в сравнении со всеми прежде истекшими тысячелетиями? Чтобы придать ему этот смысл, нужно принять фантазии Леру ("De l'humanite") [+] или Перти ("Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur") [+] о существовании какого-то демиурга - духа земли, который всю коллективную жизнь человечества сознает как свою индивидуальную. Иначе все усилия отдельных цивилизаций, из которых каждая осуществила наиполнейшим образом известную сторону идеи человечества (хотя эти стороны и не одинакового значения), оказались бы не живыми вкладами в общую его сокровищницу, а только жалкими подмостками, ни на что не годными, не стоящими того, чтоб обращать на них внимание, - детскими попытками, не имеющими более значения с тех пор, как лежавшие в них обещания достигли своего исполнения. Отдельная личность может достигнуть разрешения своей задачи, реального осуществления своего назначения, потому, что она бессмертна, и потому, что ей преподано это разрешение свыше, независимо от времени, места или племени; но это

осуществление лежит за пределами этого мира. Для коллективного же и все-таки конечного существа - человечества - нет другого назначения, другой задачи, кроме разновременного и разноместного (т. е. разноплеменного) выражения разнообразных сторон и направлений жизненной деятельности, лежащих в его идее и часто несовместимых как в одном человеке, так и в одном культурно-историческом типе развития.

Но теперь никто не верит или очень немногие верят тому, чтобы германская философия действительно низвела абсолютное в человеческое сознание или чтобы французский социализм нашел трансцендентальную формулу, разрешающую общественную задачу; но, несмотря на это, все же продолжают смешивать Европу с человечеством, утверждать, что она вышла из сферы ограниченно-национального - в сферу общечеловеческого. Я вижу в этом только смешение понятия о цивилизационной ступени развития культурного типа с понятием об общечеловеческом на том основании, что цивилизация всегда стремится разрушить те специальные формы зависимости, которые были наложены на племенную волю при переходе народов каждого культурного типа из этнографической в государственную форму быта, и заменить их известными формами свободы. Эти формы зависимости принимаются за национальное, а соответствующие им формы свободы - за человеческое (соответственно общей неверности исторического взгляда, смешивающего ступени развития с типами, планами организации и принимающего, например, новую историю, или историю цивилизационного периода германо-романского племени, за непосредственную ступень развития всего человечества); хотя как эти формы развития, так и соответственные им формы свободы - равно национальны и обусловливают друг друга. Так, например, религиозный деспотизм римского католичества принимается за национальную принадлежность европейских народов, а анархическая свобода протестантизма - за общечеловеческую форму христианства; или: религиозная нетерпимость и вмешательство церкви во все государственные, гражданские и семейные отношения - почтается узконациональным явлением, свойственным средним векам, т. е. национальному периоду жизни европейских народов, а религиозный индифферентизм и государственный атеизм, с гражданскими браками и т. п., - за явление общечеловеческое; монархический феодализм - за явление национально-германское, а конституционализм на английский лад - за явление общечеловеческое. В такую же точно противоположность ставятся феодальное крепостное право - с неограниченной личною экономическою свободою, т. е. пролетариатом и коллективным рабством; цехи и корпорации - с экономическою неурядицей, выражаемою *формулой laissez faire, laissez aller* [+6]; меркантилизм и эксплуатация колоний - с фритредерством [+7]. Но каковы бы ни были причины, заставляющие смешивать национально-европейское с общечеловеческим, нам надо рассмотреть, можно ли вообще противополагать национальное общечеловеческому.

Человечество и народ (нация, племя) относятся друг к другу как родовое понятие к видовому; следовательно, отношения между ними должны быть вообще те же, какие вообще бывают между родом и видом. Возьмем же для примера какой-нибудь общезвестный род, например, растительный род - малину или животный род - кошку. Я не думаю делать никаких унизительных для человека сравнений, а только хочу выяснить отношения видового понятия к родовому на осязательных примерах. В понятие рода входит то, что есть общего во всех видах. Таким образом, род малины характеризуется цветком, похожим на маленькую розу, с чашечкою о пяти разрезах (а не о десяти, как у земляники), с плодом, составленным из отдельных ягодок, или просто сухих костяночек, вместе слепленных и надетых, как колпачок, на коническое полукругло-выпуклое окончание стебелька. Род кошки характеризуется круглою головою и тупым рылом, определеною формою, расположением и числом зубов, 5-ю пальцами на передних и 4-мя на задних лапах, с выпускными когтями. Очевидно, что ни малины, ни кошки как рода мы себе вовсе представить не можем. Это нечто отвлеченное, неполное; для того чтобы получить действительное существование и сделаться удобопредставляемым, оно требует себе дополнений. Цветок и плод известной формы - должны получить известный цвет, соединиться с известною формою листьев и стеблей, и все это должно быть травою или кустарником. С этими дополнениями родовые свойства малины образуют более определенные понятия садовой малины, ежевики, морошки, поленики и т. п., принадлежащих к роду малины. Так же точно с общекошачими отличительными чертами зубов, лап, когтей и т. п. соединяются: различного размера тело, различной длины хвост, присутствие гривы, круглый или щелеобразный зрачок, уши с кисточками или без кисточек на конце, шерсть одноцветная, полосатая или пятнистая и т. д. и образуют определенные формы льва, тигра, барса, рыси, домашней кошки и т. д., которые все принадлежат к кошачьему роду. Род, понимаемый в этом смысле, есть только отвлечение, получаемое через исключение всего, что есть особенного в видах; это - сумма свойств всех видов, за вычетом всего, что есть в них необщего всем им, и потому род есть нечто в действительности невозможное, по своей неполноте нечто более бедное, чем каждый вид в отдельности, который, кроме общеродового, заключает в себе еще нечто особенное, хотя это особенное и менее существенно, менее важно, чем общее.

Но род может быть понимаем в ином смысле. Именно: то, что в нем есть общего, может для своего осуществления соединяться с особенностями, но только с известными, почему-то ему соответствующими, а не со всякими возможными особенностями. Общемалинное может соединяться с травянистою формою, с широким округленным простым листом, с белою окраскою цветка, с оранжевою окраскою плода - и образовать морошку; или с кустарниковою формою, с сложным, состоящим из пяти отдельных листочек листом, с черною окраскою плода - и образовать ежевику; но не

может соединяться с древесною формою, с длинным узеньким листом, с желтою окраскою цветка, с белою окраскою плода и т. д. Так же точно общекошачье может соединяться с средним ростом, с гладкою одноцветною плотно прилегающею жесткою шерстью, с оканчивающимся шишкою хвостом, с гривою, с круглым зрачком - и образовать форму льва; или с маленьким ростом, с мягкою шерстью, с продольным, щелеобразным зрачком - и образовать форму домашней кошки; но не может соединяться с волосистым хвостом, как у лошади, с пушистым, как у белки, с висячими ушами, как у слона, с прямоугольным поперечным зрачком, как у оленя, и т. д. Следовательно, в каждом родовом понятии, кроме отвлеченной совокупности его признаков, заключается еще способность дополняться известным только образом для своего осуществления в действительности,-способность, которая теоретически неопределенна, а только эмпирически исследуема. Если эту способность, лежащую в сущности (или в идее) рода, присоединить к отвлеченному родовому понятию, то род будет состоять не из того только, что общо всем его видам, а из этого общего - с прибавкою всех тех дополнений, к которым он способен. В этом смысле род не будет уже одним отвлечением, а ему будет соответствовать нечто реальное, только не в одном существе - одновременно и однозначно, а лишь в разных существах,- разновременно и разноместно осуществимое. В этом смысле род малины не будет заключаться в отвлеченном понятии *общего* между садовою малиною, ежевикою, костяникою, морошкою, поленикою, а в совокупности малины, ежевики, костяники, морошки, поленики и т. д. Род кошки - не в отвлечении *общего* между львом, тигром, барсом, кошкою, рысью, а в реальной совокупности всех их. В первом смысле род есть только *общевидовое*, и в этом смысле понятие родовое будет уже и ниже всякого видового в отдельности; во втором же смысле род будет *всевидовое* и потому шире и выше всякого вида. Для избежания недоразумений надо еще прибавить, что это отношение родового к видовому совершенно независимо от того генетического представления, которое мы соединяем с понятием о виде, т. е. независимо от того, представляем ли мы себе вид как нечто генетически самобытное, непосредственно созданное или только с течением времени, под влиянием внешних обстоятельств дифференцировавшееся, осамобытившееся; ибо все сказанное о настоящих родах и видах, в естественно-историческом смысле, прилагается вполне к отношению пород или разновидностей (в которых никто не предполагает генетической самобытности) к видам. Понятие о лошади в обыкновенном не систематически научном смысле - точно такое же отвлечение, не дающее никакого полного реального представления, как и зоологическое понятие о роде кошки, потому что всякая лошадь принадлежит к какой-либо породе и на деле никогда не бывает *просто лошадью*, про которую мы даже не знаем, как она выглядит, а или породистою арабскою, или легкою, быстрою, поджарою английскою, или массивною, тяжелою мекленбургскою, или нестатною, но неутомимою степною и т. д.

Применим теперь эти аналогии к отношениям, существующим между народом (нацией, племенем) и человечеством. Нет нужды, что племена не составляют генетически самобытных единиц, а только с течением тысячелетий осамобытившиеся группы, получившие не только особый характеристический наружный облик, но и особый психический строй; из этого следует только то, что отвлеченная сфера общечеловеческого обширнее, чем это было бы в противном случае; отношение же видового понятия народа, племени, к родовому понятию человечества остается, в сущности, то же. Все-таки понятие об общечеловеческом не только не имеет в себе ничего реального и действительного, но оно уже, теснее, ниже понятия о племенном, или народном, ибо это последнее по необходимости включает в себе первое и, сверх того, присоединяет к нему нечто особое, дополнительное, которое именно и должно быть сохраняено и развиваемо, дабы родовое понятие о человечестве во втором (реальном) значении его получило все то разнообразие и богатство в осуществлении, к какому оно способно. Следовательно, *общечеловеческого* не только нет в действительности, но и желать быть им - значит желать довольствоваться общим местом, бесцветностью, отсутствием оригинальности, одним словом, довольствоваться невозможной неполнотою. Иное дело - *всечеловеческое*, которое надо отличать от *общечеловеческого*; оно, без сомнения, выше всякого отдельно-человеческого, или народного; но оно и состоит только из совокупности всего народного, во всех местах и временах существующего и имеющего существовать; оно несовместимо и неосуществимо в какой бы то ни было одной народности; действительность его может быть только разноместная и разновременная. Общечеловеческий гений не тот, кто выражает - в какой-либо сфере деятельности - одно общечеловеческое, за исключением всего национально-особенного (такой человек был бы не гением, а пошляком в полнейшем значении этого слова), а тот, кто, выражая вполне, сверх общечеловеческого, и всю свою национальную особенность, присоединяет к этому еще некоторые черты или стороны, свойственные другим национальностям, почему и им делается в некоторой степени близок и понятен, хотя и никогда в такой же степени, как своему народу. Англичане вполне основательно смеются над немцами, имеющими претензию лучше их самих понимать Шекспира, и не так бы еще посмеялись греки над подобными же претензиями относительно Гомера или Софокла; точно так же, никто так по-бэконовски не мыслил, как англичане, или по-гегелевски - как немцы. Таких богато одаренных мыслителей правильнее было бы называть не общечеловеческими, а всечеловеческими гениями, хотя, собственно говоря, был только один Всечеловек - и Тот был Бог.

Итак (чтобы возвратиться к употребленному мною в начале этой главы сравнению), оказывается, что отношение национального к общечеловеческому вовсе не уподобляется тесным дворикам или клетушкам, окружающим обширную площадь, а может быть уподоблено улицам,

взаимно пересекающимся и своими пересечениями образующим площадь, которая в отношении каждой улицы составляет только часть ее и равно принадлежит всем улицам, а потому меньше и теснее каждой из них в отдельности. Чтобы содействовать развитию города, который представляет в нашем уподоблении всечеловечество, ничего не остается делать, как отстраивать свою улицу, по собственному плану, а не тесниться на общей площади и не браться за продолжение чужой улицы (план и характер зданий которой известен только первым ее жителям, имеющим все нужное для продолжения строения) и тем не лишать город подобающего разнообразия и распространения во все стороны.

Применим теперь все сказанное в этой и в двух предыдущих главах к отношениям России или, лучше сказать, всего славянства (которого Россия служит только представителем) к Европе.

Общечеловеческой цивилизации не существует и не может существовать, потому что это была бы только невозможная и вовсе нежелательная неполнота. Всечеловеческой цивилизации, к которой можно было бы примкнуть, также не существует и не может существовать, потому что это недостижимый идеал, или, лучше сказать, идеал, достижимый последовательным или совместным развитием всех культурно-исторических типов, своеобразною деятельностью которых проявляется историческая жизнь человечества в прошедшем, настоящем и будущем. Культурно-исторические типы соответствуют великим лингвистико-этнографическим семействам, или племенам, человеческого рода. Семь таких племен, или семейств народов, принадлежат к арийской расе. Пять из них выработали более или менее полные и совершенно самостоятельные цивилизации; шестое - кельтское, лишенное политической самостоятельности еще в этнографический период своего развития, не составило самобытного культурно-исторического типа, не имело свойственной ему цивилизации, а обратилось в этнографический материал для римского, а потом, вместе с его разрушенными остатками, для европейского культурно-исторического типа и произведенных ими цивилизаций. Славянское племя составляет седьмое из этих арийских семейств народов. Наиболее значительная часть славян (не менее, если не более, двух третей) составляет политически независимое целое - великое Русское царство. Остальные славяне хотя не составляют самостоятельных политических единиц, но выдержали все пронесшиеся над ними бури, и ныне еще продолжающие бушевать: немецкую, мадьярскую и турецкую, не потеряв своей самобытности, сохранив язык, нравы и (в значительной части) принятую ими вначале форму христианства - православие. Частно-народное и общеславянское сознание пробудилось как у турецких, так и у австрийских славян, и надобны лишь благоприятные обстоятельства, чтобы доставить им политическую самобытность. Вся историческая аналогия говорит, следовательно, что и славяне, подобно своим старшим на путях развития арийским братьям, могут и должны образовать

свою самобытную цивилизацию,- что славянство есть термин одного порядка с эллинизмом, латинством, европеизмом,- такой же культурно-исторический тип, по отношению к которому Россия, Чехия, Сербия, Булгария должны бы иметь тот же смысл, какой имеют Франция, Англия, Германия, Испания по отношению к Европе,- какой имели Афины, Спарта, Фивы по отношению к Греции. Далее, всемирно-исторический опыт говорит нам, что ежели славянство не будет иметь этого высокого смысла, то оно не будет иметь никакого,- что вся тысячелетняя этнографическая подготовка, вся многовековая народно-государственная жизнь и борьба, все политическое могущество, достигнутое столькими жертвами одного из славянских народов, есть только мыльный пузырь, форма без содержания, бесцельное существование, убитый морозом росток; ибо цивилизация не передается (в едином истинном и плодотворном значении этого слова) от народов одного культурного типа народам другого. Ежели они по внешним или внутренним причинам не в состоянии выработать самобытной цивилизации, т. е. стать на ступень развитого культурно-исторического типа - живого и деятельного органа человечества, то им ничего другого не остается, как распуститься, раствориться и обратиться в этнографический материал, в средство для достижения посторонних целей, потерять свои формационный, или образовательный, принцип и питать своими трудами и потом, своею плотью и кровью чужой, более благородный прививок, и чем скорее это будет, тем лучше. К чему поддерживать бесполезное, во всяком случае, обреченное на погибель? Выше представлены были примеры мнимой передачи цивилизации от одного культурно-исторического типа народам другого (примеры так называемого *культуртрегерства* и результаты, которые имели эти не раз повторявшиеся попытки) из греческого, римского и германского мира. Нет недостатка в этих примерах и между отношениями германских народов к славянским, где эти примеры более специально для нас поучительны.

Начала германо-романского типа были более или менее насильственно навязаны полякам и чехам. И что же произвела чешская и польская цивилизация? Форма, в которой европейские народы усвоили себе христианство - католицизм,- как несвойственная славянскому духу, именно в Польше (где, по обстоятельствам, она была усвоена самым искренним образом) приняла самый карикатурный вид и произвела самое разъедающее действие, несравненно вреднейшее, чем в самой Испании (где католицизм, несмотря на то, что дошел до своих крайних результатов, не исказил, однако же, народного характера). Германский аристократизм и рыцарство, исказив славянский демократизм, произвели шляхетство; европейская же наука и искусство, несмотря на долговременное влияние, не принялись на польской почве так, чтобы поставить Польшу в числе самобытных деятелей в этом отношении. Чехи, по счастью, не отнеслись столь пассивным образом к чуждым их народному характеру началам, старались сбросить с себя иго их; и только эти самостоятельные порывы чехов, эти *противу германские*

антиевропейские подвиги, каковыми их Европа считала и считает (как-то: религиозная реформа на православный лад и борьба из-за нее с Европой во времена Гуса и Жижки и начатое ими в наше столетие панславистское движение [+8]), могут и должны считаться всемирно-историческими подвигами чешского народа, его заветом потомству. В европейском, или германо-романском, духе и направлении чехи были столь же бесплодны, как и поляки. Нужно ли добавлять, что то же самое относится и к России? Прививку европейской цивилизации к русскому дичку хотел сделать Петр Великий, принимая прививку, конечно, в том таинственном (самую природу дичка изменяющем) значении, о котором было говорено. Но как бы кто ни думал о вещи, хотя бы думающим был сам Петр, сущность вещи от того не изменяется: прививка осталась прививкою, а не сделалась метаморфозой в Овидиевом смысле. Народ продолжал сохранять свою самобытность; много и часто надо было обрезывать ростки, которые пускал дичок ниже привитого места, дабы прививка не была заглушена... Но результаты известны: ни самобытной культуры не возросло на русской почве при таких операциях, ни чужеземное ею не усвоилось и не проникло далее поверхности общества; чужеземное в этом обществе произвело ублюдков самого гнилого свойства: нигилизм, абсентеизм, шедоферротизм, сепаратизм, бюрократизм, навеянный демократизм и самое новейшее чадо - новомодный аристократизм a la "Весть", вреднейший из всех измов [+9].

Слава Богу, что, по крайней мере, дичок пока уцелел и сохранил свою растительную силу. Такое навязывание чужеземных начал (чуждой цивилизации) славянскому племени вообще и России в особенности - столько же неудачное, как и все прочие попытки этого рода, - тем неуместнее, что не имеет тех оправданий, которые могут быть приведены в пользу некоторых других подобных попыток, как, например, касательноalexандрийского эллинизма. Здесь, с одной стороны, богато одаренный культурно-исторический тип, по недостаткам политического устройства входивших в круг его государств (слишком много заботившихся об удовлетворении потребности разнообразия в развитии и слишком мало о единстве и крепости), должен был заглохнуть на своей родной почве, не успев завершить своего развития и принести всех плодов, к которым способен; с другой стороны, египетская народность, к которой был привит эллинизм, уже совершила свой цикл, дала своеобразный цвет и плод, давно уже пришла в состояние застоя и должна была, так или иначе, снизойти на этнографическую ступень развития. Поэтому то, что не могло принести пользы для Египта, могло быть и было действительно полезно в человеческом смысле. Но зачем же жертвовать славянским племенем, молодым и самобытным, от которого должно ожидать своеобразного развития и своеобразных результатов его, когда притом европейская цивилизация находится в совершенно ином положении, чем была греческая в македонские времена? Крепкая на своей почве, она может достигнуть на ней своего окончательного предназначения без всякого чужеядства. Жертва не

только слишком многоцenna, но и совершенно напрасна.

Итак, для всякого славянина: русского, чеха, серба, хорвата, словенца, словаika, болгара (желал бы прибавить и поляка), - после Бога и Еgo святой Церкви, - идея славянства должна быть высшeю идеeю, выше науки, выше свободы, выше просвещения, выше всякого земного блага, ибо ни одно из них для него недостижимо без ее осуществления - без духовно, народно и политически самобытного, независимого славянства; а, напротив того, все эти блага будут необходимыми последствиями этой независимости и самобытности.

К этому выводу привело нас все предшествовавшее развитие занимавшего нас вопроса. Вывод этот не имеет, конечно, ничего нового для тех, которые от начала проводили или усвоили себе так называемую славянофильскую идею. Но я ставлю себя на место читателя, для которого взгляд этот более чужд, и мне слышится вопрос: в чем же, однако, может состоять эта новая славянская цивилизация? Зачатки ее на блестящем фоне европейской цивилизации становятся невидимыми для ослепленного глаза. Неужели эта глубокая наука, с ее богатыми практическими результатами, покоряющими природу к ногам человека, требует коренной реформы? Неужели деятели, сделавшие так много на поприще науки и продолжающие делать, устали, истощились и требуют замены какими-то новичками, ничем или почти ничем еще себя не ознаменовавшими? Если мне удалось доселе ясно выразить мою мысль, то это сомнение не может, кажется мне, никого смущать. Народы каждого культурно-исторического типа не вотще трудятся; результаты их труда остаются собственностью всех других народов, достигающих цивилизационного периода своего развития, и труда этого повторять незачем. Но деятельность эта бывает всегда односторонняя и проявляется преимущественно в одной какой-либо категории результатов. Развитие положительной науки о природе составляет именно существеннейший результат германо-романской цивилизации, плод европейского культурно-исторического типа; так точно, как искусство, развитие идеи прекрасного было преимущественным плодом цивилизации греческой; право и политическая организация государства - плодом цивилизации римской; развитие религиозной идеи единого истинного Бога - плодом цивилизации еврейской. Поэтому совершенно невероятно, чтобы дальнейшее развитие аналитической положительной науки о природе в том же (давшем столь богатые плоды) направлении было преимущественною задачею славянского культурно-исторического типа. Во-первых, европейские народы, как показывает опыт, еще не истощили своих сил по отношению к науке и лучше всякого другого могут продолжать дело, ими начатое и так далеко уже проведенное. В этом славянские народы, как и все другие, могут только соревновать им и быть только их помощниками. Во-вторых, необходимость в перемене направления (в новом предмете деятельности) для того, чтобы прогресс мог продолжаться, составляет внутреннюю причину того, почему

необходимо появление на историческом поприще новых народов с иным психическим строем,- народов, составляющих самобытный культурно-исторический тип. Из этого не следует, чтобы цивилизация иного типа не могла с успехом действовать на поприщах, уже с успехом пройденных другими; но . не такого рода деятельность может составлять ее главную задачу.

Новейшая наука составляет явление столь величественное, что перед нею все прочие стороны жизни как будто утрачивают свою значительность. Разве многие не считают искусства как бы забавою, развлечением от нечего делать, годным занимать тунеядцев, но, собственно говоря, недостойным нашего богатого практическим смыслом века? Нет надобности упоминать, какую роль этот односторонний взгляд отмежевывает религии. Религия обращается не более как в суеверие, приличное векам мрака и невежества, не только лишнее в века просвещения и прогресса, но составляющее даже положительное препятствие для дальнейшего развития и преуспеяния. Все несовершенства общественного устройства (или что таковым кажется) являются точно так же плодом невежества, а не необходимым следствием коренных условий исторического развития и потому будто бы могут быть устраниены применением общественной теории, выработанной таким-то ученым или утопистом. При таком взгляде, конечно, наука (и притом именно положительная наука о природе) как бы поглощает собою всю цивилизацию, становится ее синонимом. Мало того: все, что не подходит под эту науку, составляет тормоз, гири, пуды, замедляющие шествие по пути прогресса. Доказывать односторонность такого взгляда - нет надобности. Цивилизация есть понятие более обширное, нежели наука, искусство, религия, политическое, гражданское, экономическое и общественное развитие, взятые в отдельности, ибо цивилизация все это в себе заключает. Я говорю, что даже и религия есть понятие, подчиненное цивилизации. Это справедливо, конечно, только по отношению к государствам или вообще к человеческим обществам, а не к отдельным лицам, для которых религия имеет, без сомнения, несравненно большую важность, нежели все остальное, что мы разумеем под именем цивилизации, и не объемлется цивилизацией, потому что по самой сущности своей выходит за пределы земного. Из этого следует, что цивилизация, или, другими словами, культурно-исторический тип, не только может считаться новым и самобытным, но и имеющим весьма большое значение в общем развитии человечества, ежели бы даже относительно положительной науки он и не произвел ничего нового, ничего самобытного, а шел бы только по старому, правильно пробитому пути. Примером может служить Рим, который занимает не последнее место в числе культурно-исторических типов человечества, хотя был почти совершенно бесплоден в научном отношении. Хотя науки и искусства (и преимущественно науки) составляют драгоценнейшее наследие, оставляемое после себя культурно-историческими типами, хотя они составляют самый существенный вклад в общую сокровищницу человечества, однако же не они

дают основу народной жизни. В этом отношении религия (как нравственная основа деятельности), политическое, гражданское, экономическое и общественное устройство имеют гораздо большее значение. Если доля нас Гомер, Фидий, Пракситель, Пиндар, Софокл, Платон, Аристотель представляют собою сущность эллинизма, заключают в себе главнейший интерес две тысячи лет тому назад процветавшей жизни Греции, то для самих греков этот интерес едва ли не в большей степени выражался и сосредоточивался в Ликурге, Солоне, Фемистокле, Перикле, Эпамионде, Демосфене, которые устраивали в Греции практическую жизнь или руководили ею. Наука и искусство, как продукты жизни народной, уподобляются скорей тем благородным отложениям растительного организма (бальзамам, эфирным маслам, красильным веществам), которые придают блеск и благоухание их цветам и плодам, или более подобны крахмалу, составляющему запас для будущего питания растения, нежели самим клеточкам листа и ствола, в которых лежит самое начало жизни и роста растения.

Если, таким образом, нельзя отрицать возможности существования самобытных культурно-исторических типов, не лишенных важного значения в общей жизни человечества - без научной и художественной самодеятельности, то все же нельзя не сказать, что такая жизнь бедна и односторонна, что и могучий Рим в глазах потомства должен уступить место не только народам германо-романского типа, превосходящим Рим даже своим абсолютным политическим могуществом, но и политически ничтожной Элладе. Конечно, не такой бесцветной будущности мы вправе желать и ожидать для народов славянских. Что они могут иметь свое искусство - этого обыкновенно не оспаривают, да и трудно было бы оспаривать, когда зачатки его, в разных отраслях изящного, у всех перед глазами. Но что такое самобытная славянская наука? Есть ли ей место, да и вообще возможна ли национальная наука? Как ни устарел этот вопрос, составлявший некогда предмет оживленного спора в нашей литературе, я не могу оставить его без рассмотрения в этой главе, имеющей своим предметом отношение национального к общечеловеческому.

Все известные мне возражения против возможности народного характера науки подводятся под три следующие: 1. Истина - одна, следовательно, и наука, имеющая истину своим предметом, также одна. 2. Наука преемственна; выработанное одним народом, одним веком переходит в наследие другим векам и народам, которые могут продолжать здание науки только на прежнем основании. Того же нельзя сказать (по крайней мере, нельзя сказать в той же силе) об искусствах, ибо всякое произведение искусства составляет самобытное целое и продолжаемо быть не может. Искусство других веков и народов содействует общему прогрессивному его ходу или только выработкою технических приемов, или тем, что служит примером, материалом изучения, дополняющим материал, доставляемый

самою природою; всякий же истинный художник творит самобытно и начинает, так сказать, съзнова. Шекспир мог бы написать свои трагедии, если бы и не было прежде него Эсхила и Софокла, но Ньютон немыслим без Эвклида, без Коперника и Кеплера. 3. Самый язык, общий поэту и его соотечественникам, поставляет художника в теснейшую зависимость от его слушателей или читателей и составляет уже необходимую причину национального характера произведений словесности; при переводе же красота их всегда теряется. Между тем язык не имеет большого значения в деле науки, и для нее может быть употребляем какои бы то ни было известный большинству образованных, или ученых, людей язык, хотя бы даже мертвый, как, например, латинский.

Два последние возражения стараются объяснить, почему народность, всеми признанная в искусстве, не может применяться и к науке, и они действительно имеют некоторую силу. Но то, что говорится о влиянии языка на приздание произведениям искусства народного характера, относится только к поэзии. Между тем прочие „отрасли искусства: музыка, живопись, ваяние, архитектура, употребляющие для всех общепонятный язык звуков и форм, тем не менее, однако же, бывают народны, и тогда только хороши, когда народны.

Большая способность науки к передаче, к преемству составляет неотъемлемое ее качество, но нисколько не противоречит тому, чтобы каждый самобытно трудящийся народ избирал из этого наследия (так же точно, как из материала, предлагаемого его исследованиям самою природою) то, что соответственнее специальным наклонностям и способностям этого народа, и перерабатывал это теми приемами и методами мышления, которые ему свойственнее.

Что касается до главного возражения,- что истина одна и что, следовательно, и наука одна,- то оно основывается на чистом недоразумении. Что такое истина? Самое простое, а вместе и самое точное ее определение, какое только можно сделать, кажется мне, будет: *истина есть знание существующего - именно таким, каким оно существует*. В этом понятии заключаются, следовательно, два элемента: элемент внешний - не истина, а действительность, которая, конечно, независима не только от национального, но и вообще от человеческого; и элемент внутренний - отражение этой действительности в нашем сознании. Если это отражение совершенно точно и совершенно полно, т. е. если при нем не затерялось ни одной черты, ни одного оттенка действительности, ни одной черты не исказилось, ни одной черты не прибавилось, то такая совершенная истина, конечно, также не будет носить на себе никакой печати национальности или личности. Но такое отражение действительности в человеческом сознании невозможно, или, по крайней мере, в большинстве случаев невозможно; точно так же, как невозможно такое изображение предмета в зеркале, к которому бы не

присоединялось каких-либо качеств, свойственных не отражаемому предмету, а отражающему зеркалу. Поэтому все (или почти все) наши истины или односторонни, или содержат большую или меньшую примесь лжи,- или то и другое вместе. Если бы этого не было, то понятия всех людей о том, что им хорошо известно, должны бы быть тождественны. Но они различны - и притом в двух отношениях. Во-первых, разные разряды истины в различной степени интересуют разных людей, так что каждый остается более или менее равнодушным к некоторым отраслям знания (разрядам истин), питая живейшее сочувствие к другим отраслям; во-вторых, ученые, занимающиеся теми же отраслями знания, составляют себе, однако же, совершенно различные взгляды на такие предметы, которые должны быть им в одинаковой степени известны. Таким образом, Кювье и Жоффруа Сент-Илер или Кювье и Окен, жившие в одно и то же время и занимавшиеся той же наукой, имели, однако же, совершенно иной взгляд не только на мир вообще, но и на специальный предмет их занятий - царство животных, которое, однако же, оставалось одним и тем же, кто бы ни подвергал его своим исследованиям - Кювье, Жоффруа Сент-Илер или Окен. Но каждый из них придавал тому отражению, которое оно должно было составить в их сознании, особого характера односторонность и даже прибавлял к нему особого рода субъективные черты. Теперь спрашивается: все эти особенности в приемах мышления, в методах изыскания случайно ли рассеяны между людьми или сгруппированы по национальностям - так же точно, как сгруппированы нравственные свойства, эстетические способности? В последнем едва ли может быть какое-нибудь сомнение, а если это так, то и наука по необходимости должна носить на себе отпечаток национального точно так же, как носят его искусство, государственная и общественная жизнь, одним словом, все проявления человеческого духа. Из этого, конечно, не следует, чтобы тот или другой ученый не мог стоять ближе (по своему направлению, по своим взглядам и по методам своих изысканий и своего мышления) к чужой народности, чем к своей собственной, и это вовсе не от подражательности, а по особенностям своей психической природы. Таким образом, Жоффруа Сент-Илер был более немец, чем француз, приближаясь к школе натурфилософов; Аристотель - более европеец новых времен, чем древний грек; но такие примеры всегда останутся исключениями.

Из сказанного можно, по-видимому, вывести то заключение, что односторонность направления, примесь лжи, присущие всему человеческому, и составляют именно удел национального в науке. Оно отчасти и так, но, однако же, не совсем. Истина как бы уподобляется благородным металлам, которые мы могли бы извлекать не иначе как обратив их сначала в сплав с металлами недрагоценными. Эта примесь, конечно, уменьшала бы ценность их; но не надо ли с этим примириться, если только под условием такой примеси можно их приобретать, если в чистом виде они нам не даются и если известного сорта примесь обуславливает и добычу драгоценного металла

известного сорта? Сама примесь не получает ли в таком случае достоинства в наших глазах, как орудие, как условие *sine qua non* [+10] дальнейшего успеха в открытии истины? Правда, что с течением времени, при разновидности различных национальных направлений (и, главнейшее, именно под условием этой разновидности), эти примеси выделяются, элиминируются - и остается чистый благородный металл истины. Однако же роль национальности, т. е. известных индивидуальных особенностей, группирующихся по народностям, не уменьшается, не ослабевает через это в науке; ибо для науки открываются все новые и новые горизонты, которые требуют все той же работы, не могущей производиться иначе, как под теми же условиями примеси индивидуальных, а следовательно, и национальных черт к отражениям действительности в зеркале нашего сознания.

Но это только еще одна сторона предмета. Особый психический строй, характеризующий каждую народность (особенно же каждый культурно-исторический тип), проявляется не в том только, что присоединяет некоторую субъективную примесь к добываемым ими научным истинам, но еще и в том, что заставляет смотреть каждый народ на подлежащую научным исследованиям действительность с несколько иной точки зрения. Потому и отражения этой действительности в духе разных народов не совершенно между собою совпадают, но имеют в себе нечто такое, что взаимно дополняет их односторонность. Весьма странно, что отрицающие народность в науке, потому что истина - одна, допускают, однако же, ее разновременность. Слова "*современная наука, новейшая наука*" не сходят у них с языка. Если наука может быть разновременна смотря по возрасту, которого достигло народное сознание, почему же не может она быть и разноместна по тем особенностям психического строя, которые отличают всякий народ на всех ступенях его развития? Если мы хотим получить точное и полное представление о каком-нибудь сложном предмете, например о горе, то недостаточно подниматься все выше и выше, чтобы обозревать ее с разных горизонтов, а надо еще заходить с разных сторон. Эта необходимость тем больше, чем многосложнее предмет исследования. Если вместо горы мы возьмем пирамиду или колонну, то, конечно, достаточно обзора ее с какой бы то ни было одной точки зрения, чтобы составить себе ясное понятие об ее форме, так как она проста и следует простому, легко постижимому закону, понимание которого избавляет от необходимости обозревать предмет с разных точек зрения.

Кроме специфически субъективной примеси и необходимой односторонности, зависящих от особенностей в психическом строе разных народностей, национальный характер придается науке еще тем предпочтением, той предилекцией+10, которые каждый народ оказывает некоторым отраслям знания,- что так же ни от чего другого не может зависеть, как от известной соответственности, существующей между разными категориями, на которые разделяется предмет научного

исследования, и между склонностями, а следовательно, и способностями разных народов. Точно так, как есть отдельные лица, чувствующие склонность к математике, к естествознанию, к филологии, к истории, к наукам общественным, так точно есть и народы по преимуществу математики, по преимуществу филологи и т. д. Например, по любви, а следовательно, и по способности к чистой и прикладной математике первое место принадлежит, без сомнения, французам. Они одни выставили на этом поприще более первоклассных ученых, чем все остальные европейские народы, вместе взятые: Паскаль, Декарт, Клеро, Даламберт, Монж, Лаплас, Фурье, Лежандр, Лагранж, Пуассон, Коши, Леверье - французы. Германия, в которой так развита самая многосторонняя научная деятельность, может выставить против этой плеяды великих математиков не более трех-четырех, именно: Лейбница, Эйлера, Гаусса. Еще в большей степени принадлежит Германии первенство в лингвистике или сравнительной филологии, которую Германия почти создала и далее развивает. Против имен Боппа, Потта, Вильгельма Гумбольдта, Гrimma, Лассена, Шлейхера, Макса Мюллера - Франция может выставить не много равносильных соперников. Это несомненное первенство немцев в области лингвистики тем замечательнее, что его невозможно объяснить какими-либо случайными причинами. Изучение классической филологии, которое, несомненно, составляет ближайшее подготовление к занятию сравнительною филологией, не было специальностью Германии. Во французских школах, а особенно в английских, латинский и греческий языки изучались с не меньшим, а, может быть, с большим рвением, чем в Германии. С другой стороны, английские ученые имели гораздо более поводов и удобств к изучению санскритского языка, который, как известно, послужил точкой отправления для построения новой науки сравнительного языкознания. Первые немецкие лингвисты должны были даже отправляться в Лондон для изучения санскритского языка, так как в начале нынешнего столетия один этот город представлял достаточно средств для этого изучения. Я ничего не говорю о таких предметах, как практическая, наблюдательная астрономия, в которой первенство, долго принадлежавшее Англии, может быть объяснено тем, что британское правительство устраивало превосходные обсерватории и вообще доставляло средства - ввиду того практического значения, которое эта наука имеет для нации, по преимуществу мореходной. Но и Англия имеет свою любимую науку - это геология, которая главными своими успехами обязана англичанам.

Таким образом, мы находим три причины, по которым и наука, наравне с прочими сторонами цивилизации, необходимо должна носить на себе печать национальности, несмотря на то, что в научном отношении влияние народа на народ и влияние прошедшего на настоящее сильнее, чем в прочих сторонах культурно-исторической жизни. Причины эти суть: 1) предпочтение, оказываемое разными народами разным отраслям знания; 2) естественная односторонность способностей и мировоззрения, отличающая

каждый народ и заставляющая его смотреть на действительность с своей особой точки зрения; 3) некоторая примесь субъективных индивидуальных особенностей к объективной истине,- особенностей, которые (как и все прочие нравственные качества и свойства) не случайно и безразлично разделены между всеми людьми, а сгруппированы по народностям и в своей совокупности составляют то, что мы называем народным характером.

Эти две последние причины не в одинаковой, однако же, степени применимы ко всем отраслям научных исследований. Чем самый предмет проще, тем меньшую важность имеет односторонность точки зрения, с которой мы на него смотрим, для получения правильного об нем представления, как показывает вышеприведенный пример горы и колонны или пирамиды. Но точно такое же влияние имеет и самая степень совершенства, какого достигла наука. Именно, если развитие какой-либо отрасли знания дошло до того, что к исследованию ее приложима точная и положительная метода, то этим в значительной мере устраняется как односторонность личного и национального взгляда, так и субъективная примесь. Точная метода исследования как бы заставляет обозревать предмет со всех точек зрения и как бы усовершенствует то духовное зеркало, отражение в котором действительности и составляет то, что мы называем истиной. Пример влияния, оказываемого методою, лучше всего пояснит это. Пусть несколько человек примутся чертить круги от руки. Один будет делать их удлиненными, растягивающимися в овал; другой придаст своим кругам какую-то прямолинейность, сделает их похожими на квадраты с закругленными углами; у третьего они выйдут похожими на многоугольники; и при некотором навыке можно будет отличить, кто начертил какой круг. Но снабдите чертильщиков циркулями, т. е. укажите точную методу чертить круги, и все индивидуальное различие пропадет: вы уже не отличите, кто начертил тот или другой круг. Относительно кругов можно достигнуть почти такого же результата долгим навыком и без циркуля. В этом примере индивидуальная примесь устранена как простотою предмета, так и применением точной методы. Возьмем предмет сложнее. Пусть несколько человек станут чертить лестницу, колоннаду, мост, внутренность церкви и т. д. Если им известны точные правила перспективы, они проведут линию горизонта, назначат несколько вспомогательных точек и, начертав план, поведут от различных его точек разные линии к принятым точкам. Соединив пересечения этих линий между собою сообразно правилам перспективы, все рисовальщики представят нам перспективные виды, как две капли воды похожие друг на друга. Но пусть они же нарисуют на глаз простой цветок (не говоря уже о целом ландшафте, портрете или группе лиц в мгновение какого-нибудь события) - и в этом цветке отразится индивидуальность живописца, а так как национальность входит в состав индивидуальности, то и можно всегда отличить национальный характер живописи, между тем как не существует никаких школ черчения - ни национальных, ни других. Невозможно себе представить, почему бы то же

самое не относилось и к наукам. Некоторые науки выработали себе точные и обыкновенно весьма простые методы исследования. Например, вся практическая астрономия приводится к определению места светила на небе, т. е., по техническому выражению, к определению его склонения и прямого восхождения, что опять-таки делается строго определенным способом. На этом основаны все дальнейшие соображения и выкладки, которые в свою очередь производятся по определенным методам вычисления; простора личному произволу, личному взгляду - тут не много. Или возьмем органическую химию. Исследуемое вещество подвергают действию разных жидкостей, про которые известно, что одна растворяет вещества одного разряда, другая другого; таким образом выделяется всякая посторонняя примесь. Полученное вещество в чистом виде, так называемое непосредственное вещество (*substance immediate*), подвергают всесожжению, собирают продукты горения, взвешивают их - и по ним определяют состав вещества. Изучение вещества есть не что иное, как последовательное приведение его в соприкосновение с разными веществами, при разных условиях, и подобным же образом произведенный разбор происшедших от сего результатов. Конечно, получаемые таким образом факты приводятся в связь комбинирующими умом, и в высших сферах наук (даже и таких точных, как химия и астрономия) остается еще довольно простора для личных особенностей ученого; но по мере усовершенствования науки и этот простор все более и более стесняется. Со всем тем, однако же, и в этих точных науках, руководимых строгой методой, проявляется характер различных народностей - именно в способах изложения наук и в выборе метод научного исследования.

Что может быть точнее чистой математики и где тут, казалось бы, проявляться национальному характеру? Однако же он проявляется - и самым резким образом. Известно, что греки в своих математических изысканиях употребляли так называемую геометрическую методу, между тем ученыe новой Европы употребляют преимущественно методу аналитическую. Это различие в методах исследования не есть случайность, а находит себе самое удовлетворительное изъяснение в психических особенностях народов эллинского и германо-романского культурного типов. Геометрическая метода требует, чтобы геометрическая фигура, свойства которой исследуются, непрестанно представлялась воображению с полною отчетливостью, что при некоторой сложности фигур (особливо когда они имеют все три протяжения, как, например, в стереометрии или в начертательной геометрии) требует большого усилия воображения, и в этом именно заключается одно из педагогических достоинств этой методы. Напротив того, при методе аналитической, составив из рассмотрения фигуры уравнение, которое связывало бы между собою некоторые существенные свойства фигуры, подвергают это уравнение процессу диалектического развития, совершенно оставляя в стороне представление о самой фигуре. Из этого диалектического развития, если оно произведено правильно, вытекают

сами собою выводы, к которым могут подать повод свойства фигуры. Руссо в своей "Confessions" [+] замечает, что он никогда не мог усвоить себе математического анализа, чувствуя к нему непреодолимое отвращение; мне всегда казалось, говорит Руссо, что какое-либо положение вкладывается в шарманку, поверят ручку - и высыпаются новые математические истины. Что Руссо сказал о себе, то применяется ко всем почти людям с художественными наклонностями, т. е. с сильною представительною способностью, хотя бы эти люди и не были лишены способности к тонкому диалектическому развитию мысли. Упомянем лишь о Пушкине, неспособность которого к математике сохранилась как предание в лицее. Но греки были народом по преимуществу художественным. Одно отношение предметов и понятий их не удовлетворяло, им необходимо было живое, образное представление самих предметов. Нельзя также объяснить предпочтения, оказывавшегося греками геометрической методе, слабою степенью развития у них математики, при которой эта трудная метода могла удовлетворять своей цели, тогда как она уже совершенно недостаточна при нынешнем развитии науки. Мы знаем, что другой народ, стоявший вообще на низшей степени развития, нежели греки, но имевший большую склонность к отвлеченному мышлению, весьма далеко довел развитие аналитической методы в математике. Это были индийцы, изобретатели алгебры,- по словам Гумбольдта, сделавшие такие открытия в этой области, которые могли бы принести пользу европейской математике, если бы сочинения их сделались несколько ранее известными. Пример этот может быть перетолкован против делаемого мною объяснения того предпочтения, которое греки оказывали геометрической методе. Именно, индийцы слывут за народ с особенно сильною фантазией, а следовательно, и с сильным воображением. Но воображение или фантазия, которыми отличаются индийцы, совершенно иного свойства, нежели воображение греков. Воображение индийцев сочетает и нагромождает самые странные фантастические образы, но вместе с тем и самые неясные, неотчетливые; а я говорю о точности, определенности, так сказать, пластиности представления, которой именно отличалось воображение греков и которая именно и нужна для геометрических представлений; а ее вовсе не заметно ни в созданиях индийского искусства, ни в метафизических построениях индийской философии, которая, напротив того, отличается смелыми, весьма далеко проведенными диалектическими выводами.

По мере усложнения предмета наук и отсутствия строгой определенной методы в приемах научного исследования, присутствие индивидуального, а следовательно, и национального элемента становится в них все более и более ощущительным. Во время спора в нашей литературе о национальности в науке защитниками ее было, помнится мне, приведено несколько довольно удачных примеров в подтверждение ее. Но можно привести примеры гораздо более сильные, против которых трудно что-либо возразить. Можно представить целый ряд теорий, которые все носят несомненный признак

всеми признанного отличительного характера той национальности, которая их произвела. Я думаю, со мною охотно согласятся, что существенную преобладающую черту в английском национальном характере составляет любовь к самодеятельности, к всестороннему развитию личности, индивидуальности, которая проявляется в борьбе со всеми препятствиями, противопоставляемыми как внешней природой, так и другими людьми. Борьба, свободное соперничество есть жизнь англичанина: он принимает их со всеми их последствиями, требует их для себя как права, не терпит никаких ограничений, хотя бы они служили ему же в облегчение, находит в них наслаждение. Начиная со школы, англичанин ведет эту борьбу и где жизнь не представляет достаточных для нее элементов, он создает их искусственно. Он бегает, плавает, катается на лодках взапуски, боксирует один на один - не массами, как любят драться на кулаки наши русские, которых и победа в народной забаве радует только тогда, когда добыта общими дружными усилиями. Борьбу вводит англичанин во все свои общественные учреждения. В суде ли или в парламенте - везде личное состязание. В подражание парламентской борьбе они учреждают общества прений (*debating society*), где обсуживаются предложенные темы и решения поставляются большинством голосов. Всякую забаву англичане приправляют посредством пари, которое есть форма борьбы мнений. Эти пари приведены в настоящую систему. У англичан есть клуб лазильщиков по горам, не с ученой целью исследований (что если и бывает, то - так, между прочим), а единственно для доставления себе удовольствия преодоления трудностей и опасностей, и притом не просто, а состязательно с другими. Итак, борьба и соперничество составляют основу английского народного характера; и вот трое знаменитых английских ученых создают три учения, три теории в различных областях знания, которые все основаны на этом коренном свойстве английского народного характера.

В половине XVII века англичанин Гоббес создает политическую теорию образования человеческих обществ на начале всеобщей борьбы [+13], на войне всех против всех, *bellum omnium contra omnes*.

В конце XVIII века шотландец Адам Смит [+14] создает экономическую теорию свободного соперничества как между производителями и потребителями (что устанавливает цену предмета), так и между производителями (что удешевляет и улучшает изделия промышленности), - теорию непрестанной борьбы и соперничества, которые должны иметь своим результатом экономическую гармонию.

Наконец, на наших глазах англичанин Дарвин придумывает в области физиологии теорию борьбы за существование (*struggle for existance*), которая должна объяснить происхождение видов животных и растений и производить биологическую гармонию.

Эти три теории имели весьма различную судьбу. Теория Гоббеса совершенно забыта. Теория Смита разрослась в целую науку политической экономии, составляя существеннейшее ее содержание. Теория Дарвина получила большое распространение и дает направление современным ботаническим и зоологическим воззрениям. Здесь не место входить в разбор этих учений. По моему мнению, все они односторонни и носят на себе тот же характер преувеличения, как преувеличена общая их основа в английском народном характере [+]15]. Как бы то ни было, для нас важно то, что печать национальности, которой они запечатлены, лежит вне всякого сомнения.

Известно, напротив того, что понятие о необходимости государственной опеки над личным произволом, над личностью человека глубоко вкоренено во французском народном характере. И вот три французские экономические школы: меркантилистов, физиократов и защитников *права на труд требуют государственного покровительства* [+]16], одна - мануфактурной промышленности, другая - земледельческой промышленности, третья требует искусственного доставления выгодного труда рабочим, когда он не в достаточной мере им предлагается самою потребностью в произведениях их труда. Француз С.-Симон и его школа создают даже целую теорию общественного и политического устройства общества, по которой государство (в лице так называемого отца человечества и его сотрудников) управляет всем общественным трудом, раздавая добывшие богатства каждому соответственно его способностям и каждой способности соответственно ее труду. Опять, не входя в разбор достоинства этих теорий, не вправе ли мы утверждать, что все они носят на себе печать французского национального характера? Нужно ли еще указывать на практическое направление Бэконовой философии, которое так превосходно выставил на вид Маколей в своем биографическом этюде великого английского философа, или на утилитаризм Бентамиа? [+]17]

Примеры эти, кажется мне, довольно сильны и убедительны, но можно представить и еще более убедительный, потому что более общий. Он нам покажет, что некоторые периоды, некоторые фазисы в развитии наук составляют как бы удел одних национальностей, тогда как другие нации, общая деятельность которых на научном поприще весьма обширна и плодотворна, вовсе не принимали участия в сообщении наукам этих ступеней развития. Для этого я должен войти в довольно длинные предварительные рассуждения.

При изложении истории наук, перечисляя их постепенные усовершенствования и те внешние благоприятные и вредные влияния, которые ускоряли или замедляли ход их, обыкновенно недостаточно обращают внимания на внутренний их рост и потому часто - наряду с эволюционными фазисами их развития - принимают и внешние влияния за основу деления истории развития наук на периоды. Поэтому ход этого

развития представляется как бы случайным, и нет никакой возможности параллелизировать ступени развития, на которых стоят одни науки сравнительно с другими. Одним словом, или представляют только внешнюю историю науки (как, например, укажу на знаменитую историю естественных наук, составленную по лекциям, читанным Кювье), или смесь внешней истории с внутренней. Между тем, если даже в политической истории необходимо представить внутренний процесс развития обществ и на нем по преимуществу сосредоточить внимание, то это еще гораздо необходимее в истории наук, в развитии которых все внешнее не может не играть весьма второстепенной роли, так как всякая наука есть последовательное логическое развитие и построение истин, принадлежащих к известной сфере или категории предметов.

Чтобы отыскать этот всем наукам общий ход внутреннего развития, возьмем науку с возможно однородным составом; ибо, при разнородности его, одни части науки могут уйти далеко вперед, а другие значительно от них отстать, что спутывает и усложняет общий ход развития. Кроме этого для нашего исследования нужна такая наука, которая достигла уже значительной степени совершенства, т. е. прошла через значительное число фазисов развития. Все эти желаемые условия соединяет в себе астрономия.

Как самый предмет астрономии, так и ход ее развития так просты, что тут не могло быть сомнения, какие моменты ее развития принять за поворотные пункты, начиная с которых она вступала в новый период своего усовершенствования. Эти пункты обозначены четырьмя великими именами: греком Гиппархом, славянином, поляком, Коперником, немцем Кеплером и англичанином Ньютоном.

До Гиппарха вся деятельность астрономов состояла в собирании фактов, материалов для будущего научного здания. Если и в это время были известны некоторые законы, по которым могли предсказывать заранее небесные явления, например затмения и тому подобное, то это, собственно говоря, были не законы в настоящем смысле этого слова, а, так сказать, рецепты или формулы, точно такие же, какие употребляются нередко при разных фабричных производствах. Эти рецепты предписывают взять столько-то того-то, смешать, дать прокипеть три часа и так далее, - нисколько не выводя этих правил из сущности процесса, а почерпая их единственно из долговременного неосмысленного опыта и наблюдения. Это будет, следовательно, *период собирания материалов*.

Но масса фактов скопляется, и обозреть ее становится невозможным. Тогда является существенная потребность привести их в какую-либо взаимную связь, привести в систему. При этом избирается какой-либо принцип, бросающийся в глаза или почему-либо особенно удобный. Весьма невероятно, чтобы этот избранный для систематизации принцип прямо

сразу соответствовал самой природе приводимых в порядок фактов, обнимая собою все представляемые ими данные. Поэтому более чем вероятно, что первый опыт систематизации даст нам только систему искусственную. Так случилось и с астрономией. Система Гиппарха была системою искусственною. Она не выражала собою сущности явлений, не соответствовала им, а представляла лишь вспомогательное средство для ума и памяти, дабы эти последние могли находиться, ориентироваться в массе частностей. При этом она давала и некоторое удовлетворение пытливости ума, представляя ему множество сложных явлений в гармонической связи. Всякая система, хотя бы и искусственная, представляет ту неоцененную пользу, что дает возможность вставлять всякий новый факт на свое место. Он не остается в отдельности, а, вступая в систему, должен с нею гармонировать. Если он действительно гармонирует, то тем самым ее подтверждает, если же не гармонирует, то указывает на необходимость усовершенствовать систему. Уже и те факты, которые были известны Александрийским ученым, плохо гармонировали с системою центральности земли. Чтобы подвести их под эту систему, потребовалось усложнение. Выдумали эпициклы, т. е. круги, описываемые планетами около воображаемых центров. Эти центры движутся по кругу около Земли, планеты же около воображаемых центров, а за ними уже около Земли. С увеличением точности наблюдений громоздили эпициклы на эпициклы. Гиппарховский период должно, следовательно, назвать *периодом искусственной системы*.

Эта крайняя сложность привела ясный славянский ум Коперника в сомнение, и он заменил Гиппархову, или (как ее обыкновенно называли) Птоломееву, искусственную систему своею естественною системою, в которой всякому небесному телу назначено было то именно место в науке, которое оно занимает в действительности. Следовательно, этот великий человек ввел *астрономию в фазис, или период, естественной системы*.

Постановление фактов науки в их настоящее соотношение дает возможность отыскать ту зависимость, в которой они между собою находятся. Посему с принятием Коперниковой системы открылась возможность вычислять расстояние планет одной от другой и различные расстояния той же планеты от центрального тела на разных точках ее пути. Эти расстояния оказались не случайными, а связанными как между собою, так и со скоростью обращения известными простыми отношениями, получившими название Кеплеровых законов, по имени их великого открывателя. Но сами законы эти оставались между собой разъединенными, как бы случайными, не вытекающими из одного общего, ясного и понятного уму начала. Поэтому такого рода законы, только связывающие между собою известные явления, но не объясняющие их, называются частными эмпирическими законами. Следовательно, кеплеровский период развития астрономии мы можем назвать *периодом частных эмпирических законов*.

Наконец, Ньютон открывает то общее начало, которое не только объемлет собою все частные законы (так что они проис текают из него как частные выводы), но, будучи само по себе понятно уму, дает им и объяснение. В самом деле, в Ньютона вом законе непонятна только самая сущность притяжения. Но само по себе ясно, что оно должно быть во столько раз сильнее, во сколько больше число (или масса) притягивающих частиц, и что оно должно ослабляться по мере удаления притягивающего тела, как квадраты чисел, выражают ии это удаление; ибо исходящая из тела сила рассеивается во все стороны равномерно и, следовательно, как бы располагается по поверхностям шаров с разными поперечниками, а эти поверхности увеличиваются, как квадраты их поперечников. Следовательно, ньютона вский период астрономии должен быть назван периодом *общего рационального закона*.

Он завершает собою науку. Дальше идти некуда. Конечно, можно еще расширять, обогащать науку новыми открытиями фактов (новых планет, комет и т. д.), улучшать методы вычисления, проводить основной закон до мельчайших частностей, расширять его область на другие системы и т. д. Но никакой переворот в науке, достигшей этой степени совершенства, уже не возможен и не нужен. Единственный шаг вперед в философском значении, который еще возможен, состоял бы в таком обобщении общего рационального закона, которое, в свою очередь, связало бы его с общим рациональным законом, господствующим в другой категории явлений, в области другой самостоятельной науки.

Итак, всеми признанное деление истории астрономии по периодам ее внутреннего развития привело к отличию в нем пяти ступеней, или фазисов (*собирания материалов, искусственной системы, естественной системы, частных эмпирических законов, общего рационального закона*), которые для краткости можно назвать догиппарховским, гиппарховским, коперниковским, кеплеровским и ньютона вским периодами. При этом оказывается, что эти ступени развития не случайны, а требуются самым естественным ходом научного развития, т. е. необходимы, и потому мы должны ожидать, что они повторятся и во всякой другой науке. Прежде чем перейти к этой проверке выказанного в астрономии естественного логического хода развития науки, независимого от внешних благоприятствующих или препятствующих влияний, на других науках, заметим, что до него нельзя дойти, придерживаясь внешней истории науки или смешивая ее с внутреннею. В этом случае пришлось бы говорить об истории астрономии у халдеев [+18], у египтян, у греков, о влиянии аравитян, о значении для астрономии успехов оптики, об улучшении метод наблюдения английскими астрономами и т. д., причем можно легко упустить из виду то преобладающее влияние, которое оказали великие реформаторы науки, или, по крайней мере, поставить их заслуги наравне с обстоятельствами побочными. В астрономии, правда, роль этих архитекторов

науки так видна, что почти невозможно не придать ей должного преобладающего значения, но тем легче сделать это в других науках.

Другая наука, которая не достигла еще, правда, такой степени совершенства, как астрономия, но тоже перешла уже большое число фазисов развития и, отличаясь однородностью своего состава, очень ясно выказывает главные фазисы своего развития,- есть химия. И она без малейшей натяжки покажет нам совершенно тот же ход развития.

В древние времена и в так называемые средневековые столетия собирались только химические факты, частью при разных промышленных производствах, частью же под влиянием фантастических и мистических идей. Они вовсе не были сгруппированы между собою - ни искусственно, ни естественно, ни хорошо, ни дурно. Ибо Аристотелево понятие о четырех элементах [+19] не заключает в себе никакой химической основы, а имеет скорее биологический характер, так как воду, воздух, землю и огонь (понимая под этим последним теплоту, свет и вообще так называемые прежденевесомые) можно рассматривать только как источник, из которого происходят и в который возвращаются органические тела. Эти элементы, как нечто извне привнесенное, не могли служить, конечно, связующею нитью для химических явлений, известных алхимикам, и потому учение об элементах не заслуживает даже названия искусственной системы.

В период искусственной системы ввел химию немец Шталь, который поэтому может быть назван Гиппархом химии. Он придумал флогистон, который будто бы отделяется от тела при горении, так что продукты горения или окисления (ржавчины, извести, щелочи, окиси) суть тела простые, а металлы - их соединения с флогистоном. Эта система, столь же искусственная, как Гиппархова, подобно этой последней соединяла, однако, общей нитью все известные тогда химические явления и позволяла давать себе отчет в взаимодействиях друг на друга и вставлять вновь открываемые факты в ее рамку. Так вновь открытый хлор назвали обесфлогистоненою соляною кислотою и т. д. <...>

Гениальный француз Лавуазье ниспроверг всю эту (в свое время чрезвычайно полезную) путаницу, придав преобладающее, так сказать, центральное значение действительному кислороду, вместо мнимого флогистона, и этим поставил все на надлежащее место, соответствующее самой действительности. Лавуазье, следовательно, ввел в химию естественную систему - был *Коперником химии*.

И тут опять, точно так же, как в астрономии, вследствие естественности системы оказалось вскоре возможным отыскать частные связывающие начала, которые приводят во взаимную зависимость химические явления. Немец Венцель открывает законы соединения солей, француз Гей-Люссак -

законы соединения газов в простых отношениях объемов, француз Пруст открывает самый плодотворный химический закон, по которому тела соединяются между собою не во всевозможных, а только в некоторых, весьма простых отношениях, единицами для которых служат определенные по весу количества, известные под именем пропорционалов, или паев; Дюлонг и Пети открывают отношения, связывающие эти пропорциональные веса с удельным теплородом. Все эти открытия носят на себе характер Кеплеровых законов и могут быть названы частными эмпирическими законами химии. В этот кеплеровский период развития введена химия не одним гениальным химиком, а несколькими более или менее талантливыми или гениальными учеными. Общего рационального закона химия еще не имеет. Дальтонова атомистическая теория, хорошо объясняющая законы пропорциональных весов и объемов, не вполне ограждена от возражений, а главное, нисколько не объясняет самого химического сродства, степень которого может быть узнаваема только эмпирическим путем и не находится ни в какой известной зависимости от атомистического веса и других свойств, приписываемых атомам. Для этого была придумана так называемая электрохимическая теория, которая также оказалась несостоятельной, и потому должно признать, что химия не вышла еще из кеплеровского периода развития - периода частных эмпирических законов.

(...) Переходя к физике, мы найдем, что эта наука, давно уже достигшая высокой ступени совершенства, отличалась, в противоположность астрономии и химии, чрезвычайной разнородностью состава, так что не только различные ее части всегда стояли на весьма разных ступенях развития, но даже трудно было найти такое определение этой науки, которое бы ясно и точно выражало ее содержание, и должно приписать скорее счастливому инстинкту ученых, чем сознательной идеи, то обстоятельство, что весь этот разнородный комплекс фактов и учений оставался постоянно подведенным под общий свод одной науки - физики. Только открытия самого новейшего времени оправдали этот, так сказать, научный инстинкт. Благодаря этим открытиям, можно дать физике самое краткое, простое, а вместе точное и ясное определение. Это есть наука о движении вещества, если считать равновесие частным случаем движения,- в параллель или, пожалуй, в противоположность с химией, которая есть наука о веществе в самом себе. Движение это двоякое: или оно состоит в ощущительном перемещении в пространстве, или же в колебательном движении частичек внутри тела, обнаруживающемся для наших чувств - как теплота, свет, а вероятно, и электричество. Переход между этими двумя родами движения составляют волнообразное движение капельных жидкостей и звук, так как характер движения и тут тот же, что и при так называвшихся невесомых, но движению подлежащих не самые intimные частички тел, и с ним сопряжено ощущимое перемещение, как, например, в дрожащей струне. Учение о движениях первого рода, составляющее предмет первой части физики (как принято это называть в изложениях этой науки), состоит из приложения

математического анализа, из отдельных наблюдений над некоторыми свойствами тел и из приложения теорий, выработанных другими науками (теория притяжения, химическая теория). Поэтому, не имея самостоятельности, эти учения не могут ясно выразить излагаемого здесь хода развития. Что касается до учения о невесомых, то первенствующую руководительную роль играла в нем оптика, и в развитии этой частной науки ясно выражается ход его.

За сбором фактов, из которых к некоторым было приложено математическое построение (отражение и преломление света), последовала их искусственная систематизация Ньютоном посредством теории истечения. Почти одновременно с ним применил голландец Гюйгенс к световым явлениям естественную систему, известную под именем теории волнений. Многие законы, открытые Малюсом, Френелем, Юнгом, Фрауэнгофером, составили период частных эмпирических законов, которые утвердили эту естественную систему. Учение о теплороде следовало за успехами оптики: большая часть оптических явлений и законов (даже интерференция) были отысканы и в явлениях теплородных, преимущественно итальянцем Меллони. С другой стороны, указана была связь явлений, собственно, так называемого электричества, гальванизма и магнетизма Эрстедом, Араго и Ампером, а также и связь с теплородом и даже светом - Меллони и Фарадеем. Наконец, первенство в развитии, долгое время принадлежавшее оптике, перешло к учению о теплороде. Предварительными трудами Румфорда, а главное, гениальными соображениями немецкого ученого, доктора Майера и опытами англичанина Джугля учение о теплороде, а вместе с ним и о свете были возведены на ньютоновскую ступень развития общего рационального закона *сохранения движения*, по которому так называемые невесомые вещества лишаются своей самобытности, а являются лишь видоизменением движения, переходящего из перемещения тела в пространство во внутреннее колебание или дрожание частиц, в свою очередь, могущее переходить в движение в тесном, общепринятом смысле этого слова. Тут (как сама сила притяжения в Ньютоновом законе) остается непонятным только гипотетический эфир, который служит передаточным средством для этих движений. Этому учению остается только развиваться и применяться с тем же успехом к явлениям электричества и его видоизменений. Таким образом, специальный предмет физики - учение о невесомых - вступило первым, после астрономии, в высший фазис научного развития.

В ботанике опыты установления системы начались с XVII или с XVI столетия, но вполне удалось это великому шведу Линнею. Введенная им система была вполне искусственная и составляет даже как бы тип искусственной системы, представляя все ее достоинства (т. е. большое удобство и простоту в подведении под нее классифицируемых предметов) и вместе с тем чрезвычайную неестественность, соединение разнородного, разделение сродного, одним словом, постановление предметов не в ту

взаимную связь, которая существует между ними в действительности. Но и тут искусственная система имела то же выгодное влияние на развитие науки, как и всегда. Явилась возможность группировать факты, пользоваться трудами предшественников и свои собственные труды передавать другим в общей связи со всем материалом науки, и результаты оказались те же. Рамка искусственной системы скоро сделалась узка: втиснутые в нее факты сами ее разорвали. Гениальные французы Адансон и два Жюссье, дядя и племянник, установили в ботанике естественную систему и тем не только ввели свою науку в новый коперниковский период развития, но (по словам Кювье) произвели переворот во всем естествознании, потому что естественная система растений не только послужила примером для зоологии, но дала возможность обобщать, в должной именно мере, все анатомические и физиологические наблюдения и опыты, производимые над растениями и животными. Без естественной системы невозможны ни сравнительная анатомия, ни сравнительная физиология (как растительная, так и животная). Кроме того, так как в растительном мире видимость мало соответствует существенному морфологическому характеру растений, то установление естественной системы не могло быть здесь чем-либо случайным, счастливой догадкой, а требовало выработки самой теории естественной системы (принятие во внимание всех признаков предметов, взвешивание относительного достоинства этих признаков и т. д.). Это и было сделано ботаникой, а затем усовершенствовано зоологией (установлением типов организации) - для примера и руководства всем прочим наукам.

В зоологии искусственная система была также введена Линнеем. Здесь надо заметить, что, по самой сущности дела, искусственных систем может быть очень много, одновременно существующих или последовательно заменяющих одна другую. Так и в астрономии, кроме системы Гиппарха, усовершенствованной и усложненной Птоломеем, была еще система египетская, и даже после Коперника появилась еще искусственная система Тихо де Браге, желавшего примирить привычную ложь, от которой трудно было отказаться, с истиной. Так и в ботанике, и в зоологии было несколько искусственных систем, но я беру здесь за грань двух периодов развития только ту из них, которая полнее других выразила идею и цель искусственной системы и которая, следовательно, в сильнейшей степени оказала то влияние на развитие науки, которое вообще свойственно искусственной системе.

Введению естественной системы обязана зоология Кювье. В противоположность искусственной системе естественная система, как и все истинное, может быть только одна, но она может беспрестанно усовершенствоваться, все более и более приближаясь к выражению того соотношения предметов и явлений, которое существует в самой природе. Говоря об естественной системе, надо сделать еще замечание, которое нам пригодится. Именно, Линнеева зоологическая система не была вполне

искусственною. Высшие отделы животного царства установлены Линнеем вполне естественно. Но это зависело от того, что характеры главных естественных групп высших животных так резко напечатлены самою природою, что не признать их не было никакой возможности. Эти группы были верно установлены еще Аристотелем; можно даже сказать, что они никогда и никем в особенности установлены не были, а всегда были ясны и для простого неученого человека: звери, птицы, рыбы - возможно ли неверно схватить характеры этих групп? Это уже возможнее относительно пресмыкающихся (змей, ящериц, черепах, лягушек), и в них и была сделана Линнеем ошибка. Если бы различие в характере прочих животных было столь же резко запечатлено во внешней форме, как в животных высших, то искусственная система, по самой силе вещей, была бы невозможна. Поэтому может случиться, что иная наука перескочит в своем развитии через ступень искусственной системы. Мы скоро увидим тому пример.

Минералогия есть собственно учение о морфологических явлениях неорганического царства; своей физиологии она не имеет, ибо она совпадает с химией и отчасти с физикой. Первый опыт классификации минеральных форм, который можно признать системою, принадлежал великому немецкому ученому Вернеру, и его система опять-таки была искусственная и оказала то же влияние на эту отрасль знания, как ботаническая и зоологическая классификация Линнея, привлекши к ней значительное количество ученых сил. Французскому аббату Гаю принадлежит честь установления естественной морфологии минералов. За ним некоторые немецкие ученые - Моос, Розе, особенно же Митшерлих - открыли частные эмпирические законы, обусловливающие формы кристаллов, и именно Митшерлих открытием изоморфизма указал на связь между формами кристаллов и химическим составом тел. Но общий принцип образования кристаллов, рациональная зависимость наружной формы от внутреннего расположения частиц остаются еще неизвестными.

Тот же Вернер представил первую научную систему геологии, явления которой до того времени приводились в связь только для подтверждения или опровержения библейского сказания о Днях творения или же служили основой для разных фантастико-космогонических мечтаний. Система Вернера, желавшая все произвести из вод, оказалась искусственною, но влияние этой системы на развитие науки было так велико, что введенные Вернером термины: первозданных, флецевых гор, первичных, вторичных, переходных образований, доселе сохранились в науке. Шотландец Гуттон и его последователи поставили на подобающее место воду и огонь, Нептуна и Вулкана, в образовании земной коры и тем ввели науку в период естественной системы, в котором она теперь и находится.

Мы обозрели, таким образом, весь круг естествознания и, как мне кажется, без малейшей натяжки подвели все относящиеся сюда науки под тот общий

план развития, который с такою ясностью выказывается в астрономии. Из прочих наук только одна еще сравнительная филология, или лингвистика, причисляемая некоторыми также к числу наук естественных, достигла достаточной степени совершенства, чтобы в ней можно было указать на несколько перейденных эволюционных fazisov.

До конца прошедшего столетия вся обширная область языкознания представляла лишь массу научного материала, не приведенного в взаимную связь. Как в геологии, так и тут некоторые теоретики подчиняли факты извне почерпнутому началу - узко понятому богословскому воззрению, по которому еврейский язык должен был быть первым языком человечества, от которого проистекли все остальные, что, конечно, доставляло обширное поприще произволу и натяжкам.

Открытие санскритского языка произвело переворот в этой науке. Тут случилось то же, на что я указывал, говоря о зоологической системе Линнея по отношению к высшим животным. Первый знаток санскритского, англичанин Вильсон, обладая знанием языков греческого и латинского и своего родного языка (отрасль германского корня), не мог не заметить соединявшего их сродства, что и высказал совершенно определительно. Поэтому первая систематизация языков оказалась естественною. Ступень искусственной системы была тут перешагнута, и языкознание прямо перешло в период естественной системы из периода собирания материалов. Но и естественная система, по самой ее легкости и очевидности, не могла долго останавливать на себе внимания, и потому, вслед за английскими санскритистами, немецкие филологи Бопп и Гримм (относительно немецкого языка) ввели свою науку в период частных эмпирических законов, состоящих в законах фонетического изменения звуков, при этимологической деривации языков [+20]. В отдельной группе языков романских, происшедших заведомо от латинских или древнеитальянских наречий, также не было места искусственной системе. Естественная система дана была тут самою историей. В прочих группах языков повторяется только тот ход научного развития, который начался с группы языков арийских.

Из прочих наук логика и чистая математика, не имея внешнего объекта и состоя, так сказать, из чистого диалектического развития мысли, не только не представляют тех fazisov развития, которые выводятся из истории прочих наук, но даже по самой сущности своей не могут представлять никаких переворотов в своем прогрессивном ходе. Между тем как науки объективные исходят от данных видимого мира, представляющихся во всей их сложности и раздробленности, и постепенною группировкою восходят к более общим и простым началам, точкой отправления наук субъективных служат именно простейшие начала, так сказать, присущие нашему уму, из которых все дальнейшее развитие проистекает как следствие. Эти науки, следовательно, суть науки выводные, дедуктивные. Затем остальные науки суть или науки

прикладные, несамостоятельные (как, например, терапия, агрономия, технология и проч.), которые заимствуют свои начала и свои материалы из других отраслей знания и прикладываются к известным целям, или (как науки общественные, исторические, философские) находятся то в периоде собирания материалов, то в периоде непрестанной замены одной искусственной системы другою.

Замечательно, что для четырех из пяти периодов развития результаты, достигнутые в предыдущем периоде, сохраняют все свое значение и в последующих; организм науки только дополняется. Исключение составляет только второй период - период искусственной системы. Он похож на те преходящие органы животных, которые играют лишь временную роль, как, например, вольфовы тела, исчезающие после зародышного состояния, не оставляя после себя следов. В самом деле, Ньютона закон не устраниет из астрономии законов Кеплеровых, ни эти последние - системы Коперника; даже все частные наблюдения, сделанные Александрийскими или халдейскими астрономами, сохраняют всю свою силу для науки. Но системы Гиппарха, Птоломея, Тихо де Браге теперь как бы не существуют для науки; они остались лишь в истории и в ней только изучаются. То же самое относится к системам Шталя, Вернера, Линнея, к Ньютоновой теории истечения. В этом смысле, кажется мне, должно понимать то положение, что факты в науке остаются, а теории преходящи. Преходящи не все теории, а те только, которые имеют соотношение к периоду установления искусственной системы; эта система как бы соответствует лесам и подмосткам научного здания, которые потом снимаются, но без которых здания невозможно было бы построить. С другой стороны, искусственная система составляет в известном смысле, может быть, самый полезный и плодотворный шаг в развитии самой науки. Она придает собранному материалу единство, выводит его на свет Божий, лишает характера таинственности, отдельных рецептов и формул, составляющих лишь собственность так называемых адептов,- делает массу фактов доступной всякому, желающему посвятить свои труды и силы какой-либо отрасли знания. Хотя эта система примешивает по необходимости нечто ложное к сумме добывших фактов, но она же дает и средство разрушить, устранить это ложное постановлением его в противоречие с самим собою. Поэтому только с введением искусственной системы знание получает достоинство науки. Но в этом периоде науке предстоит опасность вращаться в ложном кругу, заменять одну искусственную систему другою, не подвигаться существенным образом вперед. Эта опасность устраняется только введением естественной системы, после чего наука, так сказать, входит в правильное русло.

После этого длинного отступления я наконец перехожу к выводам относительно влияния, оказываемого особенностями национального психического строя на науку. Мы рассмотрели историю развития девяти наук и отметили в них в совокупности 33 периода, или фазы, развития,

разграниченных 24 научными реформами. Национальность того ученого или тех ученых, которые возвели свою науку на непосредственно высшую ступень развития, мы с намерением всегда отмечали. (...) Именно, обращая внимание лишь на народы, бывшие главными деятелями в науке,- на немцев, англичан и французов, мы видим, что англичане более или менее содействовали возведению наук на все четыре ступени их развития; немцы оказали преимущественное участие в возведении наук на ступень частных эмпирических законов, ибо более или менее участвовали в этом труде во всех науках, достигших этого периода развития; вместе с англичанами разделяют они славу возведения наук на высшую ступень их совершенства; в четырех случаях из восьми были единственными деятелями или главными участниками в искусственной систематизации знаний, но ни одной науки не ввели в период естественной системы. Совершенно напротив того, французы были главными деятелями в сообщении движения наукам в периоде естественной системы, именно, из девяти случаев в пяти, и ни в одной науке не установили искусственной системы.

Из этого мы видим, во-первых, что роль каждой из трех национальностей в общем научном движении совершенно соответственна степени различия их национального характера, так что между французами и немцами замечается наибольшая противоположность, а англичане, которые и этнографически и лингвистически соединяют немцев с французами, занимают и тут как бы посредствующее звено. Во-вторых (и это главное), неучастие немцев в возведении наук на степень развития естественной системы, сильное участие их в установлении систем искусственных и, напротив того, преобладающее участие французов в естественно-систематическом периоде научного развития и совершенное их неучастие в периоде искусственно-систематическом - изъясняются самым удовлетворительным образом общепризнанными особенностями в психическом строе этих двух богато одаренных народов.

Мы видели, что искусственная система почти всегда предшествует естественной. Это зависит от того, что весьма мало вероятия на то, чтобы в неприведенной в порядок груде материалов можно было прямо схватить между ними все сходства и различия и притом каждое из нихенным образом взвесить и оценить. Гораздо вероятнее, что сначала бросится в глаза какой-либо признак, кажущийся почему-либо преобладающим. Так, в астрономии этим преобладающим признаком была сочтена обманчивая видимость явлений; в химии - также обманчивая видимость отделения *чего-то* при горении, что и было названо Шталем флогистоном. Но это только одна из причин искусственности систем, так сказать, причина объективная, происходящая из самой сущности группируемых данных. Но есть и другая причина - причина субъективная, зависящая от психического строя классификатора. Если он одарен способностями по преимуществу умозрительными, то сложность отношений между предметами мало

удовлетворит его; она будет казаться ему неразумной случайностью. Он будет непременно отыскивать насквозь проницающее начало, *ein durchgreifendes Prinzip*, как говорят немцы, и, думая, что нашел его, подвергнет его всем видоизменениям диалектического процесса развития, будет варьировать эту тему на все лады и подводить под эти вариации своей главной темы все разнообразие классифицируемого. Но это и есть способ, неминуемо ведущий к искусственной группировке предметов. Поэтому, когда естественная система была уже установлена и в ботанике и в зоологии и оставалось бы только все более и более ее усовершенствовать,- она мало удовлетворяла умозрительные умы, и они старались переделать ее на свой лад, втиснув в свои логические категории, в рамку какого-либо диалектически развивающегося, якобы насквозь проницающего начала. Так, Окен, исходя из того начала, что животное царство должно дифференцироваться, или расчленяться,- аналогически с расчленением отдельного и притом наиболее совершенного животного организма,- составил группы головных, грудных, брюшных животных, в которых как бы преобладает характер головы, груди или брюха. Каждая из этих групп может быть (по системе Окена) типичною или составлять переходы к прочим, и потому являются животные голово-головные, голово-брюшные, голово-грудные, брюхо-брюшные, брюхо-грудные, брюхо-головные и т. д., все в том же роде. Другой немецкий ученый, на этот раз ботаник, Рейхенбах, уже в последней половине тридцатых годов думал найти этот насквозь проницающий принцип деления прямо в диалектической методе Гегелевой логики. Он отличает сначала формы, в которых будущее диалектическое развитие заключается еще как бы в зерне, находится еще в состоянии безразличия, что называет *prothesis*. Развитие его протезиса ведет к установлению типической формы *thesis* и ее противоположности *antithesis*, которые затем как бы примиряются в высшем единстве *synthesis*. В каждой из растительных групп, будто бы соответствующих этим протезису, антитезису и синтезису, конечно, повторяется тот же самый диалектический процесс.

Оставя в стороне то, что есть странного и утрированного в этих примерах, не так ли точно располагаются по строгой системе пишущиеся диссертации? Здесь это не составляет недостатка, потому что идея, положенная в основание деления, может быть, действительно, составляет мысль, которая насквозь проникает всю диссертацию; но чтобы идея, подкладываемая бесконечно разнообразной природе, действительно имела это качество и действительно так же бы варьировалась или диалектически развивалась, как ее варьирует и развивает систематик,- на это нет никакого вероятия.

Понятно, что такое направление ума, которым немцы особенно отличаются, вовсе не благоприятно для схватывания и оценивания признаков, предметов и явлений без предвзятой идеи. Напротив того, французы, менее искусные диалектики и глубокие мыслители, имеют более отверстый ум для

непосредственного восприятия внешних впечатлений и их комбинаций по степеням действительно существующего между ними сродства, причем отсутствие всепроницающего начала не тревожит их ума. Посмотрите, как устанавливается естественная система в ботанике, где ее всего труднее было установить. Бернард Жюссье был смотритель королевского сада, т. е. садовник. Он подыскивал те формы, которые, на его физиогномический взгляд, гармонировали между собою, и сажал их близко друг к другу, постепенно исправляя свои ошибки, а его племянник научно устанавливал группы, составленные таким физиогномическим путем.- Но ежели умозрительное направление ума и одержание его какою-либо все подчиняющею себе идеей мало благоприятствуют установлению естественной системы в какой-либо области знания, они поистине драгоценны при открытии как частных, так и общих законов природы, происходящем почти всегда путем умозрения. Кеплером всецело владела мысль, что планеты совершают свои пути согласно каким-либо гармоническим сочетаниям, и он старается подвести отношение между расстояниями и временами обращения планет то под отношения между различными измерениями правильных геометрических тел, то под законы музыкальной гармонии и, наконец, под влиянием этого одержания идеей, отыскивает свои бессмертные законы.

За результат всех этих многочисленных примеров должно, кажется, принять, что плоды науки суть действительно достояние всего человечества в большей мере, чем прочие стороны цивилизации, которые в такой полноте не могут передаваться от народа к народу, особенно же - от одного культурно-исторического типа другому, но что самое произращение этих плодов, т. е. обработка и развитие наук, носит на себе не менее национальный характер, чем искусство, народная и государственная жизнь. Но различием в субъективных свойствах (в психическом строе) народностей, обрабатывающих науки, не исчерпываются еще все причины, по которым и развитие науки носит на себе национальный отпечаток. В некоторых науках сам объект их существенно национален. Таковы все науки общественные.

Чтобы доказать национальность характера наук вследствие особенностей психического строя, присущего разным народностям, мы прибегли, между прочим, к изложению хода их исторического развития; для доказательства высшей степени национальности некоторых наук,- национальности, проявляющейся не только в субъективном, но и в объективном смысле,- прибегнем к классификации наук; но в этом отношении не будем далеко ее проводить, а остановимся на том только, что нам нужно для нашей частной цели.

За главное деление наук должно, кажется мне, признать их субъективный или объективный характер, разумея под науками субъективными такие, которые не имеют внешнего предмета, а суть, по существу своему, изложение самого

хода человеческого мышления; таковы только математика и логика. Все прочие науки имеют внешнее содержание, и оно обуславливает их характер.

Некоторые из этих наук могут быть названы общими или теоретическими, потому что они имеют своим предметом общие мировые сущности, безотносительно к специальным формам, в которые они облечены. Таких общих мировых сущностей три: материя, движение и дух. Изучение материи самой в себе составляет предмет химии; изучение движения - предмет физики; изучением духа, безотносительно к его частным проявлениям, должна заниматься метафизика. Однако не только существование, но даже самая возможность существования такой науки весьма сомнительна. Чтобы возможно было изучение законов духа вообще, нужно бы иметь, по крайней мере, несколько духовных существ, дабы мочь элиминировать [+21] то, что в них случайно (то, что зависит от образа соединения духа с материей и от организации этой материи), от того, что существенно принадлежит духу, как духу. Но мы знаем лишь одно духовное существо - человека; поэтому, кажется, осторожнее заменить метафизику психологией. Но возможна ли или невозможна метафизика,- которая (в параллель с химией) была бы наукой о духе безотносительно к его проявлениям в соединении с известными формами,- для нас важно теперь лишь то, что психология представляет нам такие явления, которые не подводятся под законы материи и ее движения. Поэтому все первоначальные, самобытные законы, которым подлежит вся область нашего знания, почерпаются только из трех наук: химии, физики, психологии. Если астрономические исследования привели к открытию закона тяготения, то этот закон тем не менее есть закон физический, а не специально-астрономический.

Затем все остальные науки имеют своим предметом лишь видоизменения материальных и духовных сил и законов - под влиянием морфологического принципа, о котором мы заметим только, что он так же точно не проистекает из свойств материи и ее движения, как паровая машина не проистекает из расширительной силы пара. Морфологический принцип есть идеальное в природе. Развивать мысль эту здесь не у места. Для нас важно то различие, которое проистекает для характера наук, имеющих своим предметом общие мировые сущности: материю, движение и дух, от тех, которые рассматривают лишь их разнообразные осуществления под влиянием морфологического принципа. Это различие заключается в том, что только первые науки могут вырабатывать общие теории, остальные же могут отыскивать лишь частные законы, простирающиеся на более или менее обширные группы предметов или существ, расположенных по естественной системе, но ни в каком случае не объясняющие всех их собою. Для пояснения сделаем сравнение некоторых химических законов (с одной стороны) с физиологическими законами (с другой).

Химия говорит нам, что тела соединяются не иначе как в определенных для

каждого тела по весу количествах, известных под именем химических пропорционалов, паев или атомистических весов. И мы вполне убеждены, что так же точно происходят эти соединения на Луне, Солнце, Юпитере, Сириусе и в отдаленнейших туманных пятнах. Так же точно мы уверены, что свет, проходя через прозрачные средины, преломляется, что от полированных поверхностей он отражается, сохраняя равенство угла падения с углом отражения, где бы это отражение ни происходило - на Земле ли или на звездах Медведицы, и откуда бы свет ни исходил - от лампы, от Солнца или от любой звезды. Но из физиологических законов общи для всех животных или растений только те, которые обусловливаются всем им общими химическими и физическими свойствами, как, например, весом. На что казался общим закон, что размножение живых существ состоит в воспроизведении себе подобных, а между тем так называемая перемежаемость поколений (*Generations-wechsel*) показывает нам, что есть множество существ, у которых не дети походят на родителей, а только внуки - на дедов или правнуки - на прадедов. На что также общим казался закон, что при половом размножении необходимо присутствие двух элементов: мужского и женского, разъединенных в двух индивидуумах или соединенных в одном, а между тем явления партеногенезиса, или деворождения, показывают нам, что даже совершенно девственные самки бабочек кладут яйца, из которых развиваются вполне образовавшиеся животные. Следовательно, и эти казавшиеся столь общими для всего живого законы применимы лишь к некоторым группам известной обширности. Если относительно других законов не делали подобных же обобщений, то только потому, что с самого начала физиологических исследований им подлежали уже существа довольно разнородные. Но представим себе, что мы не знали бы ни одного водяного животного. Мы, без сомнения, утверждали бы, что всякое живое существо, погруженное в воду, непременно задохнется, ибо не может дышать в воде; мы думали бы, что легкие и, пожалуй, воздухоносные трубочки (трахеи) суть единственны возможные органы дыхания, и, конечно, никогда не придумали бы жабр путем теории.

Этих примеров достаточно, чтобы показать, что только химия, физика и наука о духе могут быть науками теоретическими, что не может быть теоретической физиологии или анатомии, а только физиология и анатомия сравнительные. Точно то же относится к наукам филологическим, к историческим и, наконец, к общественным. Общественные явления не подлежат никаким особого рода силам, следовательно, и не управляются никакими особыми законами, кроме общих духовных законов. Эти законы действуют особым образом, под влиянием морфологического начала образования обществ; но так как эти начала для разных обществ различны, то и возможно только не теоретическое, а лишь сравнительное обществословие и части его: политика, политическая экономия и т. д.

Что невозможна общая теория устройства гражданских и политических

обществ - это сознано давно, и мало уже таких доктринеров, которые бы думали, что, например, английское государственное устройство есть некий идеал, которого все должны стремиться достигнуть, что между государствами (или вообще обществами) есть, так сказать, только различие возрастное, а не качественное. Но один уголок общественных наук упрямо сохраняет это доктринерство - именно политическая экономия. Она думает, что всякое господствующее в ней учение есть общее для всех царств и народов, что, например, так как нет земледельческой общиной в тех обществах, которые эта наука изучила и на изучении которых выводила свои теории, то общиной и нигде быть не должно, что она составляет явление аномальное. Политическая экономия утверждает, что так называемая свободная торговля, которая есть выгоднейшая форма мены для Англии, где эта наука изучала торговые и промышленные явления, должна непременно применяться и к Америке, и к России. По-моему, это то же самое, как бы утверждать, что дышать можно только жабрами или только легкими, невзирая на то, живет ли животное в воде или на суше. Теоретическая политика или экономия так же невозможна, как невозможна теоретическая физиология или анатомия. Все эти науки и вообще все науки, за исключением трех вышеупомянутых, могут быть только сравнительными. Следовательно, за неимением теоретической основы - каких-либо особенного рода самобытных, непроизводных экономических или политических сил и законов - все явления общественного мира суть явления национальные и как таковые только и могут быть изучаемы и рассматриваемы. Они, конечно, могут и должны быть сравниваемы между собою, и из такого сравнения могут проистекать правила для более или менее обширной группы политических обществ, но никогда политическое или экономическое явление, замечаемое у одного народа и там уместное и благодетельное, не может считаться уже по одному этому уместным и благодетельным у другого. Это может быть, но может и не быть. Следовательно, общественные науки народны по самому своему объекту.

Итак, мы можем заключить, что и наука может быть национальна, но что в разных науках степень национальности различна. Национальность менее всего проявляется в науках, простых по своему содержанию или очень высоко стоящих по своему развитию,- в таких науках, к которым приложимы строгие методы исследования. Эти методы и составят препятствие к проявлению народности или вообще индивидуальности в несколько значительной степени. Здесь роль народности ограничивается почти лишь способом изложения и выбором методы исследования, если таких приложимых метод несколько. Роль народности в науках увеличивается по мере усложнения предмета, не допускающего введения точной и строгой методы. Если науки эти не принадлежат к разряду наук общественных, то причина национального характера, который они могут и должны принимать, зависит от особенности психического строя каждой народности, в особенности же каждого культурно-исторического типа. Наиболее же

национальный характер имеют (или, по крайней мере, должны бы иметь для успешности своего развития) науки общественные, так как тут и самый объект науки становится национальным. Это, как само собою разумеется, относится и к наукам словесным, но об них и говорить нечего, так как никто никогда не утверждал, что правила немецкой грамматики обязательны и для русского языка.

Примечания

[+1] Революция 1848 г. в Европе вызвала резкое ужесточение цензуры в России. Цензурные комитеты были реорганизованы и поставлены под контроль политической полиции - знаменитого III Отделения.

[+2] Прав человека (*фр.*).

[+3] В потенции (*лат.*).

[+4] Человечество (*фр.*).

[+5] Мистические явления человеческой природы (*нем.*).

[+6] Все идет своим чередом (*фр.*).

[+7] Меркантилизм - первая школа буржуазной политической экономии, представители которой для достижения активного торгового баланса ратовали за проведение государством протекционистской политики. Фритредерство - направление в экономической теории, выдвинувшее требование свободы торговли и невмешательства государства в частнопредпринимательскую деятельность.

[+8] Реформационное движение XIV - первой трети XV в. в Чехии велось под девизом "Чаша для мирян!", что означало требование причащения всех верующих хлебом и вином, в то время как католическая церковь утверждала, что причащаться "под обоими видами" может только духовенство. В православии этой грани между духовенством и мирянами никогда не существовало. "Гуситская ересь" была осуждена папством, организовавшим против Чехии несколько крестовых походов.

[+9] Абсентеизм (от лат. *absent* - отсутствующий) - термин, заимствованный Данилевским из английского политического лексикона. Здесь: постоянное отсутствие помещиков в своих поместьях, проживание их за рубежами России.

Шедоферротизм - см. примеч. 7 к главе третьей.

Газета "Весть" была основана в 1863 г. Н. А. Безобразовым, возглавлявшим в

60-е гг. дворянскую оппозицию реформаторской деятельности правительства Александра II.

[+10] Непременное условие (*лат.*).

[+11]

[+11] Предпочтение (от. фр. *predilection*).

[+12] Исповедь (*фр.*)

[+13] Английский философ-материалист Т. Гоббс (1588-1679) рассматривал государство как "искусственное тело", возникшее в результате общественного договора из догосударственного существования, когда люди жили разобщенно и находились в состоянии "войны всех против всех".

[+14] Шотландцы составляют лишь незначительный племенной оттенок в англосаксонском племени, так как у нас великорусы, малорусы и белорусы, следовательно, и Смит - английский ученый точно так, как Вальтер Скотт - английский романист.- *Примеч. авт.*

[+15] Н. Я. Данилевский резко отрицательно относился к учению Ч. Дарвина, видя в идее борьбы за существование продукт индивидуалистического европейского ума. Критике Дарвина посвящен незавершенный труд Данилевского "Дарвинизм" (1885), в котором жизнь природы рассматривается, исходя из принципов единства материи и духа.

[+16] Экономическая школа меркантилистов существовала во Франции в XVII в. (А. Монкретьен и др.). В середине XVIII в. возникло направление физиократов (Ф. Кене, А. Тюрго), считавших, что правительство должно покровительствовать земледелию. В 40-е гг. XIX в. Л. Блан выдвинул идею государственной "организации труда" путем создания субсидируемых казной "общественных мастерских". Лозунг о "праве на труд" был одним из главных во время революции 1848 г. во Франции.

[+17] Английский философ-материалист Ф. Бэкон разрабатывал доктрину "естественной" философии, базирующейся на опытном познании. О философии И. Бентама см. примеч. 19 к главе второй.

[+18] Халдеи - народ семитского происхождения, в начале I тыс. до н. э. пришедший из Восточной Аравии в Вавилонию.

[+19] В труде древнегреческого философа Аристотеля (384-322 гг. до н. э.) "О возникновении и уничтожении" говорится о том, что все тела "подлунного" мира состоят из 4 элементов: земли, воды, воздуха и огня.

[+20] Образование новых языков (от лат. derivatio-отклонение).

[+21] Упразднить, исключить.